

АКАДЕМИЯ АРХОНТИЯ

ПАРНЫЙ ЗНАК



ГРИГОРИЙ ПАВЛЕНКО

Григорий Павленко

Парный Знак

«Автор»

2026

Павленко Г.

Парный Знак / Г. Павленко — «Автор», 2026

Три медяка у Айры целы — лежат в тайнике и переписи не подлежат. Остальным повезло меньше. Совет объявил всеобщую перепись: людей против бумаг, страну сверху донизу, а кто с записью не совпадёт, о том Совету угодно знать особо. Перепись считает всех — нтаров стража уже сдала числом прописью: «несколько». У Айры с бумагами полный порядок. В них всё враньё. Прятаться бесполезно: перепись не облава, перепись — порядок. Зато под академией, глубже, чем ходят, двести лет лежит похороненная Советом вещь, которую он боится больше её крови. Пока эта вещь у Совета, Айра — добыча. Значит, вещь надо забрать. Мелкие препятствия: проверяющий, который слышит шёпот через зал. Дверь, которая открывается только на двоих. Ноша, которую не унести и вдвоём, — нужна команда, а своим нельзя врать. И день для такой кражи подходит ровно один: тот, когда вся академия стоит в очереди на сверку. Красть вещи Айра умеет. Людей — пробовала. Осталось обокрасть Совет — в день, который Совет назначил сам.

© Павленко Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Список, которого нет	5
Глава 2. Перепись	12
Глава 3. Глубже, чем ходят	18
Глава 4. Полынь	26
Глава 5. Наследство Дейнов	33
Глава 6. Наводнение	39
Глава 7. Чаша и стойки	46
Глава 8. Свои	53
Глава 9. Первое дело	58
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Григорий Павленко

Парный Знак

Глава 1. Список, которого нет

За всё лето в академии не украли ничего.

Айра прожила бок о бок с этим фактом — сперва ждала подвоха, потом привыкла, а под конец, если честно, начала обижаться. Город, в котором не крадут, — это город, где кончились либо воры, либо вещи. С вещами в академии было хорошо. С ворами, если считать по совести, тоже. Выходило, что дело в уважении. От этого уважения к концу лета сводило скулы: она обходила свои крыши и подвалы, как сторож — склад, на который никто не покушается. Исправно и без огонька.

Поэтому утро, в которое наконец украли, началось почти празднично.

Марга встретила её у печи с кочергой, но без миски, и уже по этому нарушению порядка вещей было ясно: случилось. За длинным столом сидел стражник с пустой корзиной и лицом человека, которому отказали в законном.

— Лист сняли, — сказала Марга вместо доброго утра и показала кочергой на дверной косяк.

На косяке торчал гвоздь. Гвоздь Айра знала хорошо. Всё лето на нём висел кухонный лист — летний счёт едоков: кто столуется при академии, пока столовая спит. Столбец имён, писанный кто во что горазд: кастелянша, стража, лектор Эйн, её собственная строка. И нижняя, дописанная её же рукой, самая старательная из всех.

Теперь на гвозде не было ничего. Почти ничего.

— Так. — Айра отставила недоеденное. Утро переставало быть скучным. — Кто-нибудь трогал?

— Я не за этим встаю, чтобы гвозди трогать.

— Где вы были этой ночью, свидетельница?

— У печи. — Марга даже бровью не повела. — Тесто ставила.

— Подтвердить кто может?

— Хлеб. — Она кивнула на противни. — Вон, целый строй. Все свежие.

Алиби было из тех, что не подделаешь.

— А выдавать без листа будешь?

— Выдавать буду. — Марга двинула заслонку так, что стражник с корзиной подобрался. — Я вас всех наизусть знаю. Но одно дело — наизусть, другое — по бумаге. По бумаге с меня потом господин ректор спрашивать будет.

— А я? — на всякий случай спросил стражник.

— Да тебя уж забудешь. — Марга даже не обернулась к нему. — Ешь давай. И вот ещё что. — А вот к Айре обернулась, и кочерга указала на неё, как перст судьбы, только чугунный. — Ночной твой со вчерашнего вечера опять нигде не числится. Только вписали человека — и на тебе. Верни как было.

Вот это был уже разговор. Окорок можно съесть, серебро можно сбыть. А лист, на котором Арден впервые за свою тихую жизнь значился едоком, — это не добыча. Это, как ни посмотри, было просто оскорбление.

Работать ей не мешали. Стражник с корзиной вытянул шею, Марга осталась при печи. Кухня по летнему времени пустовала: ни столового гула, ни очереди, ни пара над раздачей. Утро было в полном её распоряжении. Пахло свежим хлебом и остывающей золой. Тихо было

так, что слышался ход маятника в поварне, а маятник этот в последний раз слышали ещё весной.

Айра подошла к косяку и стала смотреть руками.

Под шляпкой гвоздя остался уголок — клочок в палец, с мокрым краем разрыва. Лист не сняли — сдёрнули, рывком вверх, и волокна это подтверждали хором. Человек так не берёт. Человеку проще приподнять и снять, у человека для этого, как-никак, выдуманы пальцы. Она забрала клочок — вещественная часть, всё как у людей.

Дальше — полка над разделочным столом. Мучная пыль лежала на ней с пятницы — Марга по летнему времени мукой не злоупотребляла. В пыли остался след: широкий веер, одним махом, от стены к окну. Айра приложила к нему обе ладони, растопырив пальцы, — не хватило, пришлось докладывать третью. Крылом. И это только одно крыло, а их у порядочного вора два.

Верхнее оконце было приоткрыто — кухня продыхивала ночную жару. На раме читалось продолжение: две борозды поперёк дерева, чистые, с холодным блеском по дну. Металл. Застёжки. Проём был вору впритык: протискивался боком, царапал окованными углами. И на выходе, спасибо ему, расписался — на нижней планке осталась зацепка поинтереснее: чешуйка кожи. Тёмной, крашеной, с остатком тиснения. Айра покатила её в пальцах. Переплётная кожа. Старая выделка — в городе такой уже не делают. А где такая водится в академии, она знала.

— Не человек, — сообщила она кухне, потому что кухня ждала. — Человек снял бы с гвоздя целиком, рвать ему незачем, и следы бы на полу оставил — а пол чистый. Кот исключается: когти не те, и бумага ему не интересна, он выше этого. Нтары отпадают тоже: эти не уносят, эти едят на месте. Вместе с гвоздём. Крысы уносят к себе, но крыса с таким размахом крыла называется уже по-другому.

— И как называется? — не выдержал стражник.

— Начитанно. — Айра ссыпала чешуйку в тот же карман, к клочку. — Вор пришёл верхом и ушёл верхом. Вес — с хороший том. Работал один, не спешил, следов не путал. Старый, в тиснёной коже, из тяжёлых. Такие в академии проживают в одном месте.

Она посмотрела вверх, сквозь потолок, туда, где над кухней грелись на солнце крыши.

— На довольствие, значит, потянуло, — заключила Марга без выражения. — Лист верни. Остальное меня не касается: хоть зачитайся они там. И по горячему иди, пока не остыло. У меня обед по списку, а список — вон где.

Миска догнала Айру уже у двери — с хлебом и остатком вчерашнего сыра, потому что натошак у Марги не выпускали даже на преступление.

* * *

След вёл верхом, а верх в академии был весь её. По должности ей полагалось видеть эту академию целиком, от подвалов до крыш. За лето она выучила её, как дорогу, по которой ходят с закрытыми глазами. Выходы она пересчитала походя, по привычке, которая теперь называлась работой: все на месте, новых не прибавилось. Уже неплохо для утра.

Двор по летнему времени жил своей одичалой жизнью. Службы, оставшись без учеников, за лето понемногу распустились — каждая в свою сторону. Кухня пекла с запасом, который некому было есть. Стража устраивала себе смотры и сама же на них опаздывала. А дворня переложила брусчатку у колодца — давно хотелось, а тут никто не ходит.

У доски объявлений стоял Отт и переписывал запреты набело.

Запреты были весенние, никто их не отменял, но за лето они выгорели на солнце. Отт, человек службы, страдал. Нарушать их, впрочем, было некому. Он летом дважды поймал нарушителя: один раз дворнягу с тракта, второй раз — себя, когда прошёл по свежепереложенной брусчатке до высыхания.

— Доброе утро. Что нового запрещено?

— Ничего, — с горечью ответил Отт. — Всё старое.

Айра пробежала доску глазами — из уважения к переписчику. Список открывался тройкой заслуженных: не лазать по крышам, не брать сверх выданного, не заводить живности без дозволения. Первые два пункта были её должностными обязанностями. А третий, если по совести, уже год как нарушал лектор Эйн.

Она решила Отта не расстраивать.

На той неделе, слышала она, приезжали двое доучивающихся — сдавать хвосты. Отт принял оба хвоста за час и, по слухам, остался разочарован: ни один не попытался списать, а значит, и запрещать было нечего.

У ворот слышался мерный бубнёж. Стихоплёт готовился к осени: репетировал приветственные строфы на возчиках, которых не было. Полустрофа выкатывалась на пустой тракт, повисала там без ответа и возвращалась.

— «Входящий, замри: пред тобою — чертог, — гудел камень, примериваясь, — наук и порядка, добра и...» — Он смолк, пожевал тишину и начал заново: — «...ворот».

Рифмовать «чертог» с «воротами» он пробовал уже, судя по интонации, не первый день, и ворота держались. Айра прошла под самой аркой — в строфу он её не взял вовсе, только скрипнул вслед, коротко и по-свойски. За лето она заслужила у камня высшую из его почестей — молчание.

Камень не унывал. У камня, в отличие от служб, было главное — уверенность. Осень придёт, каждому въезжающему достанется по рифме, и никто не уйдёт необрифмованным.

В учебном крыле, у распахнутого окна, Адалис Кер сверяла осенние расписания. Учебная часть выдала ей это занятие в начале лета — со словами, как потом пересказывали, «всё равно там сверять нечего». С тех пор Адалис нашла в расписаниях шесть ошибок. Две из них учебная часть признавать отказывалась: признать их значило признать, что расписания переписывали из года в год со времён позапрошлого ректора.

— Адептка Сол, — поздоровалась она, не отрываясь от линейки.

— Госпожа Кер.

Этого им обеим хватало. Разговорчивее они друг с другом не стали, но в этой сухости было что-то надёжное — как в хорошо пригнанной двери: ни скрипа, ни сквозняка.

На крышу Айра поднялась через чердак над поварней. С подветренной стороны кровля собирала солнце всей своей железной душой — по такому случаю там и стояла постоем стая.

Стая лежала по солнечной стороне — вся, от листовой мелочи до сводов. Книги грелись, распластав переплёты, страницы у мелочи лениво ходили под ветром. Пахло горячей пылью, нагретым железом и старой кожей. В библиотеке этот запах считают святым, а на крыше он был просто запахом лежбища.

Гнездо она нашла между двумя трубами. Собственно, не гнездо — лёжку: ленты-закладки, обрывки шнуров, чья-то тесьма. Всё, что книги теряли годами. Вернее, как выяснилось, не теряли — сносили сюда. В середине этого хозяйства, придавленный, лежал её лист. Столбец имён смотрел в небо. Сверху, накрыв его переплётом, дремал свод — старый, в тёмной тиснёной коже, из тяжёлых: такой и вдвоём не поднимешь, разве что уговоришь.

Чешуйка из кармана легла к его корешку, как родная. Вот и весь сыск.

— Это казённая бумага, — вежливо уведомила Айра свод, как уведомляют задержанного при свидетелях. — За неё расписывались.

Свод не шелохнулся и старательно прикидывался обыкновенной книгой. Лежит себе и лежит, что, мол, пристала эта полудурушная? Но Айру таким было не провести. Она присела, взялась за край листа и потянула — аккуратно, как из-под спящего.

Свод, не просыпаясь, прихлопнул переплётом. Взял в переплёт. Буквально.

По всей крыше прошёл шелест — сотни страниц разом, от мелочи до тяжёлых. Не угроза. Хуже: интерес.

Айра убрала руку и попробовала иначе — отломила от хлеба Марги и положила у лёжки, как собаке. Хлеб свод не заинтересовал вовсе. Разумно: том, который простоял без обеда триста лет, на приманку не возьмёшь. Но проверить полагалось — в её прежнем деле половина запертых дверей открывалась именно с такой ерунды.

Взятки не берём. Приличное заведение.

Силой тут было не взять: свод весил больше её, стоя держала его сторону, а драться с библиотекой не стала бы даже Тай. Ну — не с первого раза. Раз сила не годится — оставалось узнать правила.

Зачарователь этой пубрики обнаружился там же, где его оставило лето, — на всё той же скамье в тени. Дремал он не от безделья: у него всё уже было сделано. Давно.

— Лектор Эйн. Ваши подопечные обокрали кухню.

— Они не воруют, — сказал Эйн, не открывая глаз. — Они принимают. Лист долго висел один, без переплёта. По их разумению — отбился.

— Мне его вернуть надо. У Марги без него обед не сходится.

— Значит, меняйтесь. — Эйн поудобнее устроил голову. — Они же книги. Честнее их в этой академии никого нет: что взяли, то и держат.

— Осенью заберёте их в библиотеку?

— Осенью заберу, — согласился Эйн. И уточнил, помолчав: — Правда, который год — обещать не буду.

И ведь не поспоришь. У людей — сложнее: что взяли, то ещё и прячут.

* * *

За заменой она пошла к Отту.

— Мне нужен ваш весенний лист. Который выгорел.

— Их три.

— Тем лучше. Все три.

— Не положено.

— Они же списаны.

— Списаны, — согласился Отт и добавил с прежней горечью: — Не положено.

— А что положено?

— Ничего.

Айра выждала. Отт посмотрел на неё, на доску, на переписанные набело запреты, и в лице его боролись служба и служба.

— Под расписку, — решил он наконец и подвинул перо.

Айра расписалась с чувством. Кислый чернильный дух, скрип пера, графа «на какие нужды». В графу она, подумав, вписала «на нужды довольствия» — и ни словом не соврала.

На крыше ветер уже сменился — потянуло с тракта сухой, дальней пылью. Она сложила весенние листы стопкой рядом с лёжкой, развернув запретами кверху, и отступила на шаг.

Свод приценивался. Иначе это было не назвать: переплёт приподнялся на палец, страницы под ним шевельнулись, как пальцы скупщика над лотком. Эту повадку Айра знала изнутри и вежливо смотрела в сторону: над приценивающимся стоять нельзя, сделка уйдёт.

По любой скупке выходила переплата, и обе стороны это, разумеется, понимали. Едоков в академии — один столбец, и тот короткий. Запретов — три листа убористо, с оборотом, и каждый пункт отлёживался годами. Товар был весомее по всем статьям.

Сперва свод попробовал накрыть переплётом всё разом — и плату, и товар. Небрежно так, будто во сне повернулся.

— Э нет. — Айра придержала едоков ладонью. — По одному в руки. Здесь так принято. Свод подумал и спорить не стал: правила обмена он уважал, похоже, не меньше собственных страниц.

Запреты ушли под переплёт. Летний счёт едоков выскользнул наружу — помятый, тёплый от солнца, но целый.

— Приятно иметь дело, — поклонилась Айра лежбищу и забрала лист.

Что у них там вылупится из запретов к весне — ну, об этом она решила не думать. В крайнем случае ловить будет Отт: лист его — и служба его.

Внизу, на кухне, лист вернулся на гвоздь. Ключок из кармана сошёлся с оторванным углом волокно в волокно. Вещественная часть сдана, дело, можно считать, закрыто в один день. Спрос сегодня вечером, и впервые за лето ей было что доложить, кроме погоды.

Марга оглядела лист, гвоздь и мятый угол.

— А эти, — она повела подбородком вверх, — теперь как? Числятся?

— Впиши. Одной строкой: стая. Чтоб в другой раз не отбивались от довольствия.

— Кормить чем?

— Бумагой. У Отта её много.

Марга хмыкнула, взяла перо, которым отмечала припасы, и дописала внизу, под Арде-ном: «стая». Рука у неё не дрогнула. За этот год кухня видала едоков и почуднее.

* * *

Дверь кабинета, как всегда по этим вечерам, стояла приоткрытой.

Лампы горели вполсилы — как ей нравилось. За лето она перестала выяснять у себя, случайность это или у ламп такой уговор. На её краю стола ждал стакан с отваром. Стакан прижился там ещё в начале лета, и чей он, в этом кабинете давно не спрашивали.

— Адептка Сол. — Ректор сидел за бумагами, и казённое обращение легло привычно, как заученный ход. — Слушаю.

Она села в своё кресло и взяла стакан. Летняя её должность с первого дня так и звалась: список, которого нет. Список из одного человека, который видит академию всю. Доклад по нему за лето отточился до трёх строк, и сегодня она несла их с особым удовольствием:

— За неделю: происшествие одно. Раскрыто в тот же день. Виновные... — она примерилась к слову и решила правду не жалеть, — улетели.

Ивар поднял глаза от бумаг.

— Улетели.

— Улетели.

— В отчёте по списку, которого нет, — сказал он, помолчав, — появилось происшествие, которого не может быть. Подробности.

Подробности она изложила по всей форме: гвоздь, веер в муке, чешуйка переплётной кожи, лёжка между труб, ход следствия, обмен. Он слушал, как слушал всегда: не перебивая, сложив руки. И по какому-то своему счёту взвешивал, где в этой истории кончается служба и начинается представление. Судя по лицу, граница его устраивала.

— Свидетели?

— Стая. Поимённо не назову — у половины стёрты корешки.

— Утраты?

— Утрат нет. Прибыла строка. В счёте едоков теперь значится стая.

— Меры к виновным?

— Приняты. Виновные поставлены на довольствие.

— Это мера?

— В этой академии — высшая.

— Совет спросит, — сказал он, и пауза перед словами была в точности той, с какой кладут заготовленное, — почему на казённом довольствии состоит библиотека.

— Скажите: по списку. Против списка Совет не спорит.

— Совет не спорит против своих списков. — Ивар отложил перо. — Чужие он изымает.

Сказал он это тем же тоном, что и всё остальное. И всё-таки на слове «изымает» в кабинете сделалось на полтона тише. Айра отпила отвара. Тепло стакана в ладонях было надёжнее рассуждений: до Совета отсюда три дня пути, а до осени — и того больше.

— Из Архива поступил запрос, — сменил он тему по-хозяйски, как переставляют фигуру. — Адепт Верен интересуется, как продвигается список чтения.

— Продвигается.

— В числах?

— Полторы.

Пауза у него вышла длиннее заготовленной.

— Которая половина?

— Лучшая. Про утварь.

Верен, если б ты знал, на каких работах твой том у меня побывал, ты бы список сократил. Из уважения.

Он не улыбнулся — он никогда не улыбался в этом месте разговора, — но перо легло на стол чуть аккуратнее, чем требовалось. За окном густел вечер, из сада тянуло остывающей за день травой. А весь этот спрос — раз в неделю, не срочно — давно держался не на службе. Просто обоим было жаль его сокращать. Сокращать никто и не предлагал.

— Через неделю Архонтия принимает адептов, — он не отрывался от своих бумаг. — Новых. Старых, впрочем, тоже. Вы теперь, к слову, второй курс. По вашей части будут пожелания?

— Крыши. — Она отвечала не думая: думано было за лето не раз. — Новички первым делом лезут на крыши, это закон природы. Я, если вы помните, сама там дневала и ночевала. В этом году там квартирует стая, и я бы на их месте туда не лезла, а на своём — попрошу дворню проверить жёлоб над поварней. Уронят же.

— Кого?

— Сначала себя. Потом жёлоб. И раз уж о крышах: над поварней задирается кровельное железо. Я прижала, но это до первого ветра. Пришлите кого-нибудь — пусть берёт длинную лестницу на конюшне, моя короткая.

— Пришлю. — Он сделал пометку. — Айра. Стакан.

— Что — стакан?

— Остынет.

Она допила. И, как всегда по таким вечерам, ушла последней из дневных забот этого кабинета. У порога оглянулась: Ивар гасил лампы, по одной, в заведённом порядке, и кабинет по частям уходил в темноту, как академия в осень.

* * *

Двор лежал тёмный и свой — от стены до стены, без единого чужого звука. У ворот жёлтым пятном горел фонарь Стихоплёта. Коридор лета кончался: в дальнем его конце уже сквозило, и по вечерам это чувствовалось кожей.

Домой она пошла привычным кругом. Мимо кухни, где Марга уже загребла жар и где лист с новой строкой висел на своём гвозде. Мимо запертого учебного крыла, мимо колодца с новой брусчаткой, по которой всё ещё было совестно ходить. Академия сдавалась ей по частям, как сдаётся на ночь хороший склад: всё на месте, всё сосчитано, все спят, кто числится.

Топот она слышала раньше, чем стража, — по тракту, издалека, мерный, без жалости к подковам.

Гонец прошёл ворота на рыси, не сбавляя. Стихоплёт набрал было воздуху — сколько его там есть у камня — на приветственную полустрофу и первый раз на её памяти не успел. Рифма осталась при нём: гость ушёл раньше неё. Летом в академию не ездят гонцы. Летом сюда вообще не ездят так — так ездят к людям, у которых кончилось время.

Стража повела гонца через двор, к ректору, — мимо неё, не заметив. Она умела стоять незаметно, а тут и стараться не пришлось: смотрели оба только на сумку с гербом у гонца на боку.

Окно кабинета — она сама видела, как оно гасло, по одной лампе, в заведённом порядке, — зажглось снова. Всё разом.

Айра стояла посреди двора и слушала, как у ворот каменно молчит оборванная на вдохе строфа. Руки держала в карманах — пальцам стало холодно. До осени оставалась неделя. Похоже, осень об этом знала и выехала пораньше.

Глава 2. Перепись

Слово «перепись» добралось до Айры раньше завтрака.

Добиралось оно через весь двор и по дороге обросло подробностями, как всякая новость, пересказанная натошак. Под её окном дворня спорила, что именно будут переписывать. Один голос стоял за имущество, второй — за людей, а третий, самый уверенный, утверждал, что перепишут всё, включая стены. За стены-то как раз и страшно: они в Архонтии, бывало, переходили с места на место, а иногда и вовсе раздваивались. Четвёртый голос, молодой, робко понадеялся, что перепишут жалованье — в большую сторону. Его торжественно подняли на смех: жалованье, объяснили ему, переписывают только в одну сторону, на то оно и жалованье.

Айра лежала, слушала и мысленно поставила на стены. Месяц под этим окном по утрам было слышно один колодезный ворот. А теперь двор гудел, как в лучшие свои дни, — и от этого гула у неё под рубашкой коротко, по-старому отозвался холодком Знак.

Ну здравствуй, осень. Раньше срока, с гонцом и с подробностями.

Тай уехала на лето с общим разъездом — и в комнате первым же вечером восстановился старый порядок: Кот вернул себе кровать. Всю. Права его были безупречны. «Кровать твоя. Вся. Насовсем» — она сама так сказала, ещё в первую зиму. А Кот чужое слово держал строже собственного, единственный в этой академии. Теперь он спал во всю длину, во всю ширину и ещё немного за край — как умеют спать только коты и победители. Айре, как в старые добрые времена, оставалась треть. Та, что похуже. На двор с его переписью Кот не потратил даже уха.

Вот у кого стоило учиться. Кот не значился нигде, не числился ни при ком и ни в одном столбце не стоял. Совет мог переписать страну трижды — Кота в ней не оказалось бы ни разу.

Гонец, к слову, уехал ещё затемно — казённые люди рассветов не ждут. Но уехал он не сразу — к полудню об этом рассказывал уже весь двор. У самого выезда створки ворот сошлись перед ним — сами, без сторожей и наглухо. Стихоплёту в последнее время слишком часто давали понять, что правила у него необязательные. Вчерашний гость ушёл раньше рифмы. Камень стерпел, но не забыл. Гонцу, запертому в воротах, прочли всё причитающееся: приветствие — за вчера, напутствие — за сегодня, а между ними поэма. Длинная, обстоятельная и, по отзывам стражи, на диво добротная: три части и мораль о том, что спешка губит коней и вежество. Ворота отворились точно на последней рифме. Со двора, говорят, гонец выезжал шагом и в крайней задумчивости.

Жаль, проспала. За такое я бы и в воротах постояла.

* * *

К завтраку у слова появились очертания, к полудню — порядок. Само слово двор, впрочем, одолел не с первого раза: с утра по академии ходила «перепись», и ей, честно сказать, даже шло.

Перепись. Всеобщая, казённая, сверху: люди против бумаг, бумаги против людей. Совету угодно знать, что всякий живущий совпадает со своей записью. А кто не совпадает — о том Совету угодно знать особо. Шла она по стране, как положено, сверху вниз: сперва дома и их люди, за домами — люди казённые. У академии очередь была своя: сначала службы, потом старшие курсы, потом младшие. Тень — последней.

Отт вывесил этот порядок на доску объявлений в самый полдень — новым листом, белым до неприличия. Прижал углы, отступил, оглядел. За целое лето это был первый новый лист на его доске. И по лицу Отта было видно: день удался. Потом он спохватился и добавил снизу, своей рукой, мелко: «К листу не прикасаться».

Это был первый за лето запрет, у которого появились виды на будущее: к листу тянулась вся академия.

— А когда Тень? — спросила Айра, читая столбец очередей. Своей даты в нём не было — дат там не было вообще, только порядок, но и порядка хватало: её строка стояла последней, далеко, за всеми чужими спинами.

— Когда дойдут. — Отт посмотрел на неё с высоты человека, у которого на доске новый лист. — До вас, адептка, ещё вся академия. Радуйтесь.

Радуюсь, ваша бдительность. Аж вприпрыжку.

Радоваться было чему, и от этого «радуйтесь» у неё свело скулы. Очередь, до которой далеко, — это не отсрочка. Это просто очередь, в которой стоишь.

У доски толпился народ — читали, как сводки с войны, которой ещё нет. Столбец очередей каждый мерил на себя. Стража нашла себя первой строкой и приосанилась. Дворня нашла себя там же и обиделась на соседство. Кто-то из кастелянш вслух прикидывал, считаются ли лари имуществом — или, по совести, семьёй. Кто-то уже выяснял, куда жаловаться, если посчитают неправильно, и куда бежать — если правильно. Сходились в одном: раз повесили лист, значит, будет и второй. Листы, как беды, поодиночке не ходят.

Двор тем временем нашёл себе занятие по душе.

Службы, которые всё лето дичали от безделья, услышали слово «перепись» — и поняли его каждый по-своему, но все одинаково деятельно. Перед Советом следовало не осрамиться. А не осрамиться можно было единственным способом: пересчитать всё самим, заранее, начисто. Кухня считать отказалась: Марга объявила, что у неё считано со вчера и позавчера, а кто не верит — пусть Совет приезжает и пересчитывает, у неё как раз квашня не мешана. Дворня считала инвентарь, потом брусчатку, потом — войдя во вкус — колодезные вёдра, включая утопленное («числится? числится»). Стража решила пересчитать себя.

Вот на страже двор и споткнулся.

Затеяли по всей науке: построение во дворе, черта мелом по брусчатке, сам капитан стражи Брук — человек, свято веривший, что любую беду можно построить в две шеренги, — со списком и огрызком мела за ухом. Стража встала в черту, сосчиталась дважды и оба раза сошлась сама с собой. Уже готовилась расходиться с чувством исполненного долга — и тут к построению, никем не званные, пришли нтары.

Пришли как ходили всегда: торжественно, строем, в балахонах до земли, с выражением существ, исполняющих долг, о котором вас не обязаны извещать. Встали с краю. Стояли смирно.

Считавший дошёл до них, посчитал — вышло трое. Для порядка пересчитал.

Вышло пятеро.

Третий счёт дал семерых, и с этого места утро перестало быть служебным. Балахоны стояли не шевелясь, лиц под ними не водилось. Которые из семерых были давешние трое — не разобрал бы никто. Да и были ли те трое среди этих семерых — в этом считавший уже сомневался вслух и с дрожью. К нтарам никто никогда не приглядывался настолько, чтобы отличать. Теперь приглядывались всем двором — и чем внимательнее приглядывались, тем нтаров становилось больше: им, поди, нравилось. Быть посчитанными — это признание.

— Стоять, — велел Отт, подходя. — И не множиться.

Нтары стояли и множились.

К исходу часа двор сошёлся на девяти, но цифре не верил никто, включая цифру. Родилась и окрепла версия, что нтары почкуются — от внимания. Капитан Брук предложил считать их ночью, спящих. Дворня резонно спросила, кто видел спящего нтара — и где потом видели того, кто видел. Вопрос почкования отложили до Совета.

— Так и сдадим, — решил наконец капитан, у которого кончился мел. — Числом прописью: «несколько». — И, подумав, прибавил: — А мастеру Бреку — ни слова. Осенью сам доложу. Со своими цифрами.

Вражда капитана Брука с мастером Бреком была старше половины стражи. Из-за чего началась, не помнили уже ни академия, ни, кажется, сами враги. Но счёт вёлся годами, и у каждого он сходиллся в свою пользу. А похожи они были до смешного: вся академия считала их братьями (родственниками они, между прочим, не были), и злее этого слуха для обоих пока ничего не придумали.

Нтары, получив признание, снялись и ушли — как пришли: строем, торжественно, всемером. До угла поварни дошли втроём. Провожать их взглядом дальше угла никто не стал: рассудок целее. Да и примета в академии на этот счёт стояла твёрдая: у того, кто про нтаров много думает, они и заводятся.

И только после их ухода выяснилось, что у одного из стражников пропал сапог. Левый. Как — стоя в строю, середь бела дня, прямо с ноги — стражник объяснить не взялся. Настаивать никто не стал.

Прописью. Совет будет считать нас прописью. Дожили до величия.

Одна Адалис Кер на всеобщее ликование смотрела из окна учебного крыла — поверх линейки, не отрываясь от расписаний. Слово «перепись» она приняла, не моргнув. У Кер, обронила она, сверку людей с бумагами устраивали по четвергам — и звалось это не потрясением основ, а четвергом.

— Здесь из арифметики делают событие, — она вернулась к расписаниям. — Мне нравится академия.

Марга во всём этом празднике учёта не участвовала — у Марги учёт был всегда, и паника ей не шла. Она поймала Айру у кухонной двери, молча ткнула пальцем в свой лист на гвозде. Палец указывал в нижнюю строку.

— Снимай, — велела Марга. — Пока не переписали.

Строка «стая» висела там, где вчера была шуткой. За ночь шутка отросла в строку учёта: выходило, что в академии, на довольствии, при кухне, состоит библиотека. А теперь по этому листу кто-то будет водить пальцем.

— Снять нельзя, — честно ответила Айра. — Вписать можно кого угодно, это дело житейское. А выписывать задним числом — это уже подлог. За подлог спрашивают строже, чем за вредительство.

— Это кто ж такое установил?

— Люди, которым было что выписывать.

Марга посмотрела на неё долгим кухонным взглядом, каким проверяют, не подгорело ли.

— Ладно, кормлю дальше, — заключила она. — Но отчитываться перед казной по книгам будешь ты. Ты вписала — твоя и строка.

Спорить с этим было так же бесполезно, как с уставом. Айра кивнула — и обнаружила, что руки у неё заняты. Пока она слушала про нтаров и подлог, руки сами вынули из-за кухонной приступки свёрток ветоши, в котором с весны жила запасная отмычка, и убрали под одежду. Она оглядела это дело со стороны и спорить не стала — с руками она вообще старалась не спорить: руки у неё были самые опытные из всех присутствующих. Головой она ещё считала, что время есть. Руки уже знали, что нет.

* * *

До вечера Айра обошла своё хозяйство.

Хозяйство у вора — даже завязавшего, даже на жалованье — заводится само, как нтары: никто не приносил, а есть. За год в этих стенах у неё расплодились тайники, и лето при долж-

ности этому только помогло: должность знала всю академию от подвалов до крыш, а руки при должности состояли те же, воровские.

Теперь всё это следовало пройти заново — глазами переписи. Что найдут, если искать будут не люди, а порядок: без спешки, всё подряд, со сверкой.

Щель за подоконником — первый её тайник в этих стенах, сухая, глубокая, заслуженная. Отняла полминуты: в ней жили две отмычки и крючок из шпильки. Отмычки переехали. Куда — про то знали руки, а голове было велено не запоминать: чего голова не знает, того у неё не спросят.

На чердаке над западной галереей обнаружился свёрток с сухарями — неприкосновенный запас, заложенный зимой на случай, о котором тогда не хотелось думать подробно. Сухари за полгода дозрели до того, что ими при нужде можно было обороняться. Айра взвесила один в руке, уважительно постучала им о балку — балка отозвалась, сухарь нет.

— Числишься продовольствием, — сообщила она ему. — Не позорь графу.

Запас остался лежать: сухари переписи не боялись. Сухарям вообще было всё равно: они дожили до возраста, когда уже ничего не страшно.

Дожить бы.

В нише за водостоком южной крыши нашёлся предмет, которого Айра не помнила. Свёрнутый в тряпицу, с ладонь, гладкий. Она развернула: костяная рукоятка без ножа, отполированная чужими руками до масляного блеска. Когда взяла, у кого взяла, зачем взяла рукоятку без ножа — память молчала, как нтар. Судя по укладке свёртка, брала она — почерк её. Судя по всему остальному — брала не приходя в сознание.

Вот тебе и перепись. У людей находят чужое. У меня находят неизвестно чьё.

Рукоятка переехала вместе с отмычками: неизвестно чьё при переписи хуже краденого — краденое хотя бы объяснимо.

В щели под лестницей чёрного хода её ждало открытие похуже рукоятки: кисет. Табак, кресало, всё честь по чести — и всё не её. Сначала по спине прошла игла: тайник знают. Потом она пригляделась: нет, не знают. Кисет лежал неумело, углом наружу. А место было выбрано так же, как выбрала бы она: сухо, темно, никто не ходит. В академии просто завёлся второй человек с её взглядом на архитектуру. Кто-то из дворни прятал табак — надо думать, от жены. Айра мысленно пожелала коллеге удачи и жену с плохим нюхом.

Кисет она оставила лежать: чужой тайник — не добыча. Так записано в самом старом уставе её жизни — в том, который не переписывают. Но щель под лестницей теперь для дела пропала. Тайник, о котором знают двое, — это уже не тайник. Это переписка.

Подвалы она прошла не задерживаясь. В подвалах у неё не лежало ничего и никогда — подвалы обыскивают первым делом, это знает всякий, кто хоть раз обыскивал. Прятать в подвале — всё равно что прятать в кармане у стражника. Своим подвалам она доверяла только себя.

Двор по дороге пришлось пересечь по меловой черте. Черта за день отросла: кто-то продлил её, аккуратно и с явным намерением, через весь двор, вокруг колодца и точно в дыру за поленницей. Заодно, как выяснилось, со двора ушли огрызок мела и правая рукавица капитана Брука. Левую не тронули. Нтары никогда не брали лишнего — только необъяснимое.

А один тайник она искала полчаса.

Свой собственный. Заложенный в марте, с умом, с расчётом на чужой обыск — то есть так, чтобы не нашёл никто. Включая, как выяснилось, её саму. Айра стояла посреди сушильни, смотрела на стропила, из которых помнила только «где-то здесь», и испытывала два чувства разом. Первым была злость. Вторым — глубокое профессиональное уважение.

Кто прятал — мастер. Выйдешь на волю — найму.

Тайник в конце концов сдался — по паутине: над ним она была порвана и заткана заново. А пауки, в отличие от людей, ткут по второму разу только там, где их потревожили. Пауку —

почтение: сторожил лучше стражи и жалованья не просил. Внутри лежал моток бечёвки и три медяка на чёрный день. Нынешний день на чёрный тянул пока наполовину, а за полцены такие деньги не тратят. Эти три медяка были не деньги, а суеверие, и переписи не подлежали.

Последней в обходе стояла голубятня.

Голубятня над северным крылом была тайником особого рода — витринным. Айра оборудовала её ещё зимой, по всей науке: место укромное, но находимое, содержимое убедительное, но бесполезное — пара монет, огарок, тряпица с «сокровищем» из битого стекла. Такой тайник не прячут от обыска. Такой тайник обыску скармливают: кто ищет и находит, тот успокаивается и дальше не ищет.

Перепись меняла в этой науке одно: витрину следовало освежить. Кто ищет по порядку, тот глупее того, кто ищет по злобе, — зато дотошнее. Залежалый огарок мог его и обидеть. Айра добавила к «сокровищу» пуговицу с чужого камзола и медяк почище — пусть подавятся. Поправила тряпицу и осталась довольна: голубятня выглядела как самое тайное место человека, которому есть что скрывать и нечего прятать.

— Работайте, — напутствовала она голубятню, отряхивая ладони. — Кормить буду по итогам.

Голубей здесь не водилось со времён, о которых не помнил даже лектор Эйн, зато место было обжитое, как надо. Хорошая витрина стоит трёх настоящих тайников — эту науку она бы преподавала, будь у честных людей такой предмет.

С крыши голубятни было видно всю академию — и доску у ворот с белым листом, возле которого до сих пор стоял народ. Очередь на том листе шла сверху вниз, и последняя строка была её.

Она уже стояла однажды в таком столбце. В чужом списке, который ей не показывали, — только пересказали: два столбца, первый длинный, второй короткий, и против её строки — одно слово. «Проверить».

Тогда это слово было её личной бедой, штучной, на одного заказчика. Теперь его выдали всей стране — по слову на каждого, с очередями.

Растёшь, Айра. Раньше тебя хотели проверить люди со средствами. Теперь — казна.

Она спустилась с голубятни тем же путём, что и поднялась, — через слуховое окно. И пошла туда, куда собиралась с самого полудня, только себе до сумерек не признавалась.

* * *

Спрос был вчера. А сегодня она пришла сама, без вызова, вторым вечером подряд, и оба они сделали вид, что так и заведено.

Кабинет встретил её как вчера: дверь на ладонь, лампы вполсилы. стакан с отваром ждал на её краю стола, налитый заранее. То ли здесь слышали её шаги, то ли знали о них раньше неё самой.

— Адептка Сол. — Головы ректор не поднял. Перед ним лежали бумаги — и одну, верхнюю, он перевернул текстом вниз прежде, чем она подошла. Жест был короткий, будничный, дверной: так закрывают не тайну, а сквозняк. — Слушаю.

— Доклада нет. Происшествий нет. — Айра села в своё кресло. — Есть вопрос по будущим происшествиям.

— По переписи.

— По ней.

Ивар опустил перо. Поднял и взгляд — впервые за вечер прямой. В лампах вполсилы лицо у него было обычное, вечернее. Только собраннее, чем всегда, — как двор перед смотром.

— Спрашивайте.

— Вы обещали, — сказала Айра, — что Совет теперь долго будет не прав. И мы отдохнём.

Пауза перед ответом была та самая — заготовленная.

— Я был не прав, — признал он. — Совет исправился быстрее.

Заготовке полдня, а подана как свежая. Выучка. У честных людей этому не учат — а жаль.

— Дважды в столетие, вы говорили.

— Представляете, насколько нам повезло? Оба раза при нашей жизни.

Она отпила отвара. Разговор шёл по верху, лёгкий, разученный, — и оба слышали под ним, ниже на этаж, другой разговор, который они не начинали. В том разговоре было её имя, которого нет в бумагах, и её кровь, для которой нет графы, и очередь, которая идёт сверху вниз и кончается ею.

— Академию будут считать, — сказал Ивар, и лёгкость из голоса он убрал сам, как убирают со стола. — Всю. Людей против бумаг. Это не облава и не розыск — хуже: это порядок. С порядком нельзя договориться, его нельзя подкупить и нельзя обидеть. Его можно только пройти. Или не проходить.

— Порядок мне даже нравится. — Она повертела стакан в ладонях. — Порядок предсказуем.

— Не этот. Совет не считает от скуки: взялись считать — значит, возникли подозрения. А там, где возникли подозрения, считать будут особо внимательно.

— А если человек с записью не совпал?

Вот теперь пауза была без заготовки — просто пауза, самая честная из его пауз.

— Передача на уточнение статуса.

Формула легла между ними — плоская, аккуратная, на слух не значащая ничего. И от этого «ничего» в кабинете похолодало верней, чем от любых подробностей. Расшифровки Айра просить не стала. Есть формулы, которые понимаешь всей шкурой раньше, чем словарём.

— Такие вопросы, — прибавил он обычным голосом, — вы не задаёте нигде, кроме этого кабинета.

— Я нигде и не задаю. Я вообще человек нелюбопытный. Спросите кого угодно.

— Заметно. — По голосу было не разобрать, комплимент это или диагноз. — Кого угодно и спрошу.

— Стража сегодня прошла пробный смотр, — сменил он тему, поддержав игру. — Мне доложили. В докладе значится, что нтаров в академии — числом прописью — «несколько».

— Совет любит точность.

— Совет полюбит нтаров.

Он не улыбнулся, но поправил перо на столе — на волос, без нужды. У него это было вместо улыбки, она знала расценки.

— Тень считают последней. — Лёгкость у неё кончилась, как мел у стражи. — Я видела очередь. Моя строка внизу.

— Внизу, — согласился он. — Это время.

— Это не время. Это очередь.

Он помолчал. Встал — не к ней, а к окну, за которым лежал тёмный двор. И сказал уже туда, в стекло, негромко:

— Времени хватит.

— На что?

Вот тут он и посмотрел — только не на неё. И не в окно. Вниз — в тёмный навощённый пол кабинета. Будто пол был прозрачный, и под ним, глубоко, ниже подвалов, ниже всего, что переписывают, лежало то, на что он смотрел. Айра знала этот взгляд. Люди, которые прячут ценное, смотрят на тайник. Все. Всегда. Хоть на мгновение.

— Есть вещь, которую Совет боится больше вашей крови, — сказал Ивар.

И больше в тот вечер не сказал ничего.

Глава 3. Глубже, чем ходят

Ночь у Айры вышла образцовая: легла вовремя, глаза закрыла честно и до самого утра ни разу не подумала о вещи, которую Совет боится больше её крови.

Не думала она о ней после полуночи, когда Кот перелёг поперёк кровати и ей достался угол. Не думала после второго колокола, лёжа на спине и разглядывая потолок. А за потолком — сколько их там, этажей и ярусов — лежало то, о чём она не думала. И под утро, задремав, не думала так усердно, что приснился ей пол ректорского кабинета — тёмный, навощённый. Она вскрывала его половица за половицей, а под каждой лежал новый пол.

К рассвету вопрос был закрыт. Вор в ней отработал смену, ничего не добыл и требовал расчёта.

С вещами, о которых нельзя думать, у неё был заведён твёрдый порядок: не ходить, не спрашивать, не соваться. Ломался он всякий раз об одно и то же — об неё.

Ладно. Пойду не к вещи. Пойду по хозяйству. А что у нас хозяйство — от подвалов до крыши, так это не я придумала, это должность.

* * *

Двор она застала за чтением.

На доске Отта, рядом с листом очередей, висел второй лист — свежий, белый, ещё пахнущий чернилами. Двор оказался прав: листы, как беды, поодиночке не ходят. Народу перед доской стояло больше, чем на вчерашнем построении. По рядам уже гуляли пересказы — один другого жёванее и краше.

Второй лист был про вещи. Всякой вещи в академии предписывалось иметь своё место, а всякому месту — своего ответчика: кто за него распишется, когда придут считать. Написано было казённо, с оборотом. Двор переключивал это на человеческий язык — всяк в свою пользу. Дворня поняла так, что всё лежащее без присмотра — ничьё, и уносить его грех уже наполовину. Кастелянши поняли так, что всё лежащее без присмотра — их. Стража не поняла ничего, но на всякий случай выставила у доски пост.

Отт стоял тут же, при листе, и был почти неприлично счастлив. Два новых листа за два дня — служба такого урожая не видела годами.

— За кухню Марга распишется, — вслух раскладывал он, водя пальцем по столбцу. — За учебное крыло — учебная часть. За ворота... — палец замер. Стихоплёта в ответчики было не записать: он сам был вещью, причём вещью с голосом и своим мнением о посетителях. — За ворота подумаем. За кладовые — смотритель, кладовые при нём с прежних времён...

Палец пошёл ниже и упёрся в дно листа.

— А за подвалы кто? — спросил Отт у листа. Лист молчал. — Ниже кладовых? За ярусы?

Вопрос вышел громче, чем он хотел, — так всегда бывает с вопросами, на которые нет графы. И упал не в толпу, а под ноги ректору. Тот шёл через двор своим утренним разбором и поравнялся с доской в самый неудачный для Отта момент.

— До второго яруса — смотритель. — Ректор не остановился. — Ниже не пишите.

— А ниже за кого?..

— Ниже незачем. — Он уже прошёл доску, и ответ достался больше двору, чем Отту. — Там ничего нет.

Двор кивнул и понёс дальше: ниже второго ничего нет, Сам сказал, при всех. Наконец-то хоть одна строка переписи оказалась короткой. К обеду, впрочем, двор уже уточнял, чего именно там нет. Одни стояли за старое золото, другие — за кости прежнего эконома. А сторож

при конюшне божился, что там нет такого, о чём и говорить нельзя, — и вот с этим никто спорить не стал.

Айра стояла у доски третьей от края, смотрела на лист и держала лицо скучным.

Вчера вечером этот человек посмотрел в тёмный навощённый пол — как на тайник — и сказал: есть вещь. Сегодня утром этот человек, не сбавляя шага, при страже и дворе сообщил, что ниже второго яруса ничего нет. Оба раза он говорил ей.

Люди о ценном врут одинаково: «там ничего нет» — первые слова всякого, у кого там что-то есть. Она слышала это от купцов, от кастелянш, от одного почтенного скупщика, у которого под «ничем» лежало три состояния. Те ввали, чтобы она не пошла. Этот — при всех, зная, что она стоит в трёх шагах. Для неё это был не замок. Ключ.

— Адептка Сол. — Ректор, оказывается, ещё не совсем ушёл: обернулся от угла, уже другим, служебным голосом. — Смотрителю на кладовых нужны руки к сверке. Ваша должность видит академию всю. Окажете посильную помощь.

— Окажу, — отозвалась Айра голосом человека, которому испортили день.

День ей никто не испортил. День у неё только начинался.

* * *

К задней двери кухни она завернула по дороге. Не ради сдобы — хотя сдобой оттуда несло на полдвора. Ради человека, который в этот час обыкновенно состоял при миске.

Арден обнаружился на приступке: как всегда, не подошёл, а именно обнаружился, между одним её взглядом и другим. Миска у него была первая, вторая ещё остывала на краю: Марга по-прежнему кормила «мышь» с добавкой, на вырост.

— Спросить хочу. — Айра присела на другой край. — Ты в академии везде ходишь.

— Хожу.

— Вниз ходишь? Под Архив. За кладовые, ниже.

Арден дожевывал. Ложку держал с той же давней вежливостью к еде и торопиться не стал.

— Нет.

— Нельзя?

— Не пускает. — Он поискал слово и взял простое, как ложку: — Отбрасывает нас там. Штука какая-то внизу. Стоит и отбрасывает.

— Пробовал, значит.

— Несколько раз. — Прозвучало это без обиды: так говорят о двери, которую попробовал, признал за ней правоту и пошёл другой дорогой. — Только там не стена. Стену хоть чувствуешь. Идёшь вниз, всё как всегда, — а потом замечаешь, что идёшь уже не вниз. И не туда. И, бывает, давно.

— Это как?

— Вот так. — Арден подумал и решил, что случай скажет лучше него: — Один раз обнаружил себя на третьем этаже. Выходил из уборной. А она третий год закрытая стоит.

Штука внизу, после которой выходишь из заколоченных уборных. Прелестно. И это у нас называется «там ничего нет».

Она оставила его при мисках и пошла к Архиву. Не внутрь — вдоль, к торцу, где в стену была врезана дверь без вывески: серая, окованная, будничная. Дверь за Архивом. За этой дверью начиналась лестница винтом, а за лестницей — всё то, чего нет.

У двери она присела на корточки (поправить ремешок на сапоге, если спросят) и посмотрела на порог так, как умела смотреть: руками, только не касаясь.

Порог был стёртый. Не той благородной стёртостью, какой стираются парадные пороги, — простой, рабочей: посередине глубже, к краям сходит на нет. И жёлоб этот протоптан не за год и не за десять. По нижней кромке двери — засаленная полоса на высоте голени: её

оставляют, когда изо дня в день придерживают дверь ногой, потому что руки заняты. Петли смазаны. Не скрипят.

Сюда ходили каждый день. Годами. С грузом. Туда и обратно — с утра пыль на пороге уже лежала потревоженной.

Целый год она считала подвалы своими. Выучила их карту наизусть, сдавала в них экзамены, искренне полагала, что знает под этой академией каждую дыру, достойную знакомства. А ниже её самых смелых представлений о глубине всё это время кто-то жил — по хозяйству, с ведома начальства. И ни разу, между прочим, не попался ей на глаза.

Профессиональная гордость, и без того придавленная вчерашней очередью, села и потребовала объяснений.

Спокойно. Год — это даже красиво. Меня год водили за нос по моей же территории. Найму себя обратно в ученицы.

* * *

Спуск за дверью она взяла в темпе человека, который идёт по казённой надобности и очень хочет, чтобы это было видно.

Лестница шла винтом, ступени были сбиты серединами — той же долгой ногой, что и порог. Первый ярус встретил её запахом, от которого что-то в ней по-хорошему осело. Старое дерево, воск, пыль и холодок камня — запах склада, на котором порядок. Вдоль коридора тянулись кладовые с номерами прежних времён на дверях. Из-за поворота доставал слабый свет.

Шла она тихо. Не по делу — просто иначе не умела.

— Левее возьмите, — сказали из темноты впереди. — Там ведро.

Айра взяла левее. Ведро нашлось там, где сказали, — чёрное на чёрном: в любое другое утро это была бы серьёзная заявка на её самолюбие.

— А по правой стенке за углом доска с гвоздём, — продолжил голос, приближаясь вместе со светом лампы. — Её ещё в позапрошлом году положили на время. С тех пор на время и лежит. Я к тому говорю, что вы идёте тихо, а спотыкаются тут все одинаково громко.

— Вы меня от самой лестницы слышали?

— Зачем слышал. — В круг лампы вошёл старик: сухой, невысокий, в фартуке поверх тёплой не по сезону поддёвки, с лицом из тех, что не запоминают на рынках. — Пыль у меня с утра лежала непуганая. А теперь пуганая. Вы за ней не первая идёте, я за ней сорок лет хожу.

Вот и весь твой промысел, Айра. Старик с лампой читает тебя по пыли, как ты — чужие пороги. Академия тебя окончательно добила. На пенсию. В сторожа при голубятне.

— Смотритель?

— Смотритель. — Он посветил на неё, оглядел без любопытства, по-хозяйски, как оглядывают поступившее: цело ли и куда ставить. — А вы — те самые руки, которых я просил. Это хорошо, что вы. Я думал, пришлют кого-нибудь со списком, а список мне тут ни к чему. Мне надо, чтобы было кому ходить и держать.

Звали его (это выяснилось по дороге к первой кладовой) никак. То есть имя у него имелось, но истёрлось, как порог. Академия звала его Скарбом — по хозяйству, которое при нём состояло. На это имя он отзывался охотнее, чем на человеческое. «Скарб и Скарб. Вещи же не спрашивают, как меня по батюшке».

Сверку он начал не от двери — от середины коридора, и тут утро Айры пошло наперекосяк во второй раз.

Она приготовилась скучать: вчера этим с утра до ночи занимался весь двор. А Скарб отпер кладовую, поднял лампу и поздоровался.

— Ну, — сказал он вглубь, где на стеллажах громоздилось добро, увязанное и укрытое. — Живы. Это которая с ручкой. — Лампа качнулась на медный бок чего-то большого. — Ручку ей тому два года новую ставили, старую она о ту стену смяла, когда её несли не так. С тех пор носим так.

— Она у вас числится? — спросила Айра, доставая на всякий случай грифель.

— Она у меня живёт, — поправил Скарб. — Числится она у Совета.

Грифель Айра убрала.

Дальше пошло хозяйство, какого она не видала ни на одном складе. Вещи у Скарба делились не по цене и не по весу, а на семьи. Названий этим семьям она не знала, да и он их не называл — он их знал. Были вещи выданные, но наши: «стол в учительской — он там стоит, но он мой, я его в люди выпустил, а к зиме заберу ножку подклеить». Были чужие, но при нас: «этот ларь дом какой-то оставил, лет тому тридцать. Приедут — отдадим. Не приедут — будет наш, но пока чужой, я его не открываю». Была полка вещей, которые вернутся: «эту брали до осени. Какой осени — не сказали. Ждём».

И была, отдельно ото всех, вещь под дерюгой — её выдавали один раз.

— Один раз, — повторил Скарб с удовольствием, оглаживая дерюгу, как оглаживают лошадь. — Лет мне тогда было меньше, чем вам. Выдали её на два дня, а принесли назад через месяц — и у тех, кто принёс, глаза были вот такие. С тех пор её не спрашивают. И я не выдаю. У нас с ней уговор.

— А что она?..

— А вот этого не надо, — мягко перебил он. — Про неё спросишь — она слышит.

Сказано это было так между делом, что Айра оглянулась на дерюгу. Дерюга лежала смирно. Слишком смирно, если присмотреться, — но присматриваться она не стала. В этой академии она уже была на короткой ноге со сводом, голубятней и колодезным ведром. Расширять круг молчаливых знакомых как-то не хотелось.

Переписи Скарб радовался. Во всей академии таких было двое: Отт — по службе, а Скарб — для души.

— Сорок лет никто не спрашивал, — объяснил он, запирая кладовую и отпирая следующую. — Ни разу. Присылали смотреть — это было. Присылали брать — это сколько угодно. А чтобы спросить, что тут у меня и как оно живёт, — не спрашивали. А теперь Совет самолично спросит. Я им, — он похлопал по фартуку, где-то там, где у людей живёт сердце, а у него, надо думать, хозяйство, — всё расскажу.

— Долго рассказывать будете, — прикинула Айра вслух. Кладовых в коридоре было — она машинально начала считать и остановила себя — до самого поворота.

— Долго, — согласился Скарб мечтательно. — Меньше чем в час не уложусь.

Про час он не преувеличил, а преуменьшил. Выяснилось это тут же, на вещи с новой ручкой: у неё оказалась история. У истории оказалось начало, у начала — предыстория. И скоро Айра обнаружила себя сидящей на перевёрнутом ящике посреди года большого града. Кровля над западным крылом сдалась на третьи сутки, тогдашний эконо́м сказал своё веское, был неправ, и его потом всё-таки послушали — на свою голову.

Уйти было нельзя. Она попробовала дважды, по всей науке: сослалась на дела, потом просто начала вставать. Обе попытки ушли в рассказ, как вода в песок. Скарб не удерживал, не обижался, даже не сбивался — он продолжал. И продолжение всякий раз выходило такое, что уходить на нём было всё равно что выйти из-за стола перед жарким. Она осталась. Она была человек, а человека этот рассказ держал крепче засова.

Запомнить: от него не уходят. Из него выпутываются. Желательно вдвоём: один тонет — другой тащит.

Огонёк увязался за ней ещё от двери — вольный, из одичавших. При Скарбе он вёл себя примерно: висел смирно у плеча и на всякий случай прикидывался погасшим. Айра его пони-

мала. Человек, у которого живёт всё, рано или поздно спросит, у кого живёшь ты. А попадать в чужое хозяйство огоньку было явно ни к чему.

У лестницы на второй ярус Скарб остановился и снял ей с кольца ключи — не все: отобрал на ощупь, не глядя.

— Эти от сухих кладовых, — выдал он вместе с ключами. — Ходить смотреть — ходите. Брать — у меня. Записывать, — он покосился на карман, где у неё лежал грифель, — записывайте, если оно вам помогает. Мне не мешает.

— А ниже? — Айра качнула головой на лестницу. — Второй ярус, и что там дальше.

— Второй пройдем сейчас, там пусто, одни крюки. — Скарб двинулся вниз первым, посвечивая под ноги. — А дальше ничего нет.

— Совсем ничего? И дверей нет?

— И дверей нет, — подтвердил он с полной убежденностью человека, который не врёт. — Ниже второго я не хожу.

— Не положено?

— Ноги не идут, — сказал Скарб буднично, как говорят «к дождю ломит». — Дойду до конца второго — и ноги не идут. Не болят, не отказывают. Не идут, и всё. Я по молодости себя туда таскал волоком, любопытный был. А потом рассудил: у вещей своё хозяйство, у меня своё. Вещь, которая не хочет, чтоб её брали, — её и не берут. Место, которое не хочет, чтоб в него ходили... — Он пожал плечами и посветил на очередной пролёт. — Сорок лет при вещах: поневоле начнёшь уважать, когда с тобой разговаривают. Хоть бы и ногами.

Второй ярус прошли скоро: камень, сырость, пустые крюки по стенам — жильё, из которого свет съехал давно и не оставил адреса. Скарб показал ей дальний завал («это не завал, это лежит»), два сухих колодца («в них не смотреть, а то потом не отстанут») и угол, за которым начинался подвал Тени. Она узнала его по царапине на притолоке: год их учили тут не оставлять следов и находить чужие. Весь её год глубины, выходило, кончался этим углом. Дно её образования, под которым, как выяснилось, ещё жили.

У поворота коридор уходил вниз, в темноту поплотнее. Скарб остановился — как лошадь перед мостом, который ей не нравится: всем собой, заранее.

— Всё, — объявил он мирно. — Моё — до сих пор. А дальше ничего нет, я говорил.

— Говорили.

— Ну и ладно тогда. — Он перехватил лампу и вдруг добавил, уже в спину, тем же хозяйственным тоном, каким сообщал про ведро: — Вы там, где ничего нет, под ноги смотрите. Там, где ничего нет, ступени, я слышал, битые.

И этот туда же. Вся академия сегодня выдаёт мне подорожные в место, которого нет. Организовано, как на смотре.

* * *

Ниже второго яруса темнота стояла другая — не подвальная, а глубокая, вылежавшаяся. И тишина в ней была плотная, как вода: шаги уходили в неё без остатка. Огонёк у плеча выложился на всю свою невеликую яркость и явно жалел, что увязался.

Короткий коридор. Дальше — арка.

Глазами арка была пуста. Проём как проём, темнее окружающей темноты, и ничего в нём — хоть иди насквозь.

Айра знала цену этой пустоте. Год назад она прошла здесь один раз и видела — недолго, изнутри своей тьмы, — чем этот проём перекрыт от свода до пола. С тех пор убедительнее эта пустота не стала.

А перед аркой, на прежнем месте, сидел Кот.

Сидел он спиной к ней, мордой к арке, обернув хвост вокруг лап. И не обернулся: стража не тратит шею на своих. Айра подошла и села рядом на корточки, соблюдая расстояние, приличное между постом и посетителем.

— Доброе утро. У меня новость. С сегодняшнего дня всё это хозяйство сверху донизу числится за мной. Выходит, либо ты теперь моё имущество, либо я твоё начальство.

Кот развернул к ней одно ухо. Не голову — ухо. Взвесил оба варианта и оба признал до смешного нелепыми. Он-то знал, кто тут хозяин и начальство в одном пушистом лице.

— Так и запишем. Ни то ни другое, состоим в прежних отношениях. — Она поднялась. — Служи.

Перед самой аркой она посмотрела под ноги — по привычке, которая кормила её дольше всех прочих. И привычка выдала ей за верную службу то, чего она не искала.

Пыль перед аркой лежала топтаная. Не тропой (тропа тут была одна, её собственная, годичной давности, и от неё следа не осталось) — пятном. Небольшим, в пару шагов, у самого проёма, чуть сбоку от середины. Пыль там была стёрта до камня — не ходьбой. Стоянием. Люди, которые приходят и стоят, стоят по-разному. Часовой топчется на всей ступне, вор — на носках. А тут каблуки были вдавлены глубже носков, парой: стояние долгое, спокойное, с весом, откинутым чуть назад. Так стоят перед тем, на что смотрят. Или перед тем, на что смотреть не могут: у кромки пятна, там, где нога делает первый шаг вперёд, отпечатка не было ни одного.

Приходил. Не раз и не два — пыль у кромки была стёрта слоями, свежее по старому. Стоял. Не входил.

Как он ходит за эту арку, она видела год назад. Та отбирала у него разом пол и стороны света, и оставалась ему одна стена под ладонью. Место, куда человек не может войти, — это одно. Место, куда человек не может войти и приходит стоять перед ним, — совсем другое. Об этом другом она думать себе не разрешила: не здесь. Здесь у неё была работа.

Стоишь, значит. Перед запертым. Ну, хоть в этом мы с тобой одинаковые — я перед вашей дверью тоже год простояла, только с той стороны.

К арке она подошла, как к чужой снасти: с уважением и без фамильярности. Попробовала по науке: стянуть себя внутрь, в самое малое. Наука отработала вхолостую — как год назад, как всегда. Эту дверь её выучка не брала. Эта дверь открывалась другим — тем, что приходило само, без спроса, в последний момент.

Только за год кое-что переменялось. Теперь она умела звать.

Она сняла с себя лишнее — не с тела, изнутри: счёт выходов, обиду на порог, старика с лампой, всё дневное, шумное. И позвала. Коротко, как зовут своих с порога: без имени, без слов. Так она звала всего несколько раз в жизни, и всякий раз потом за это платила. Но сегодня торговаться было не о чем: дорогу ей показали, ворота заперли на словах, а на слова у неё всю жизнь была плохая память.

Тьма пришла. Своя, знакомая, без чужих рук: мир на вдох погасили, как лампу. И в этой тьме пустой проём перестал быть пустым. Сверху донизу его перекрывала старая работа: глухое тёмное золото, узлы затянуты внутрь, ни одного свободного конца. Узор не спал. Узор её ждал.

Тем, что осталось от неё самой, она прошла его насквозь, не потревожив ни петли. Узор её не заметил. Опять.

По ту сторону мир вернулся весь и сразу — и тут же, не отходя, выставил счёт. В ушах повис звон, тонкий, на одной ноте. Повисел — и стих. До висков дело не дошло, пальцы остались тёплыми, кровь при ней. Она прислушалась к себе и осталась довольна: по здешним ценам — даром. Мелкая монета за проход, который год назад ей выдали бесплатно и без спросу.

Растём. Раньше оно приходило без спросу. Теперь — по зову. Осталось выяснить, кто кого позвал.

Третий ярус она прошла краем, не заходя вглубь. Низкий длинный зал с рёбрами стеллажей стоял, как стоял: пыль покрывалом, коробка под тёмными печатями, похороненные жизни на полках. Год назад она считала их все чужими. Теперь среди них была одна своя — в третьем проходе, в сером коробе тоньше соседей. Мимо этого прохода она прошла, не повернув головы. Кладбище это она помнила и возвращаться на него не стремилась: за нужным она сюда уже приходила, а лишнего не брала даже здесь. Особенно здесь.

Её вёл сквозняк.

Тонкий, холодный, без перебоев — он тёк вдоль пола, из дальнего конца зала. И пыль там лежала не так: у самой стены её дыхание было видно — покрывало шевелилось по кромке, волосок за волоском. Стена как стена, кладка как кладка. Только за ней было пусто — это слышалось по тому звуку, которого не было: камень, за которым камень, молчит иначе, чем камень, за которым лестница.

Проём нашёлся за угловым стеллажом. Не потайной даже — просто убранный с глаз: кто не ищет, не увидит. А от того, кто ищет, здесь и не прятали. За ним вниз уходили ступени.

Другие ступени.

Это она поняла ногой раньше, чем глазами. Камень под подошвой лежал глаже и плотнее, тёска была старая, не академическая: без зубила по краю, длинным гладким сколом. Так работали, когда камня не жалели и торопиться было некуда. Стены сходились стык в стык. Этому месту было больше лет, чем всему, что стояло над ним. И строили его не в подвал — подвалом оно стало потом, когда сверху выросла академия.

По обе стороны лестницы, на равной высоте, шли гнёзда для ламп. Парами. Друг напротив друга, ни одного одиночного. Спускаясь между ними, она поймала себя на том, что держится середины: одному человеку с одной лампой тут было неуютно — как за столом, накрытым на двоих, где второго всё нет.

Внизу лестница легла в короткий прямой ход, и дверей в нём было три.

Первую она уважила. Дверь как дверь, дерево в железе, замок врезной, честный, старой работы. Пальцы, соскучившиеся за день по настоящему делу, взяли его шпилькой и обломком грифеля — за то время, за которое приличные люди здороваются. За дверью оказалась пустая каморка с крюками — что тут висело, унесли так давно, что и пыль забыла. Первая честная дверь за день. Ну хоть кто-то в этом заведении запирался по-человечески.

Вторая дверь стояла незапертой. Вот это было хуже. Незапертая дверь в месте, куда не ходят, означает одно из двух. Либо за ней нет ничего. Либо всё, что есть, стережётся дальше, а дверь оставлена настежь — как калитка перед волчьей ямой: ту тоже никто не запирает. За дверью был пустой проходной свод — и третья дверь.

Третью она увидела всю сразу и сразу поняла, что первые две были присказкой.

Плита. Тёмный камень в рост, без ручки, без скважины, без петель на виду. Плита сидела в стене так, что было не понять, где кончается стена и начинается дверь. И на плите, друг над другом, были выбраны две ладони. Не нарисованы, не высечены узором — выбраны в камень, ложем, по живой руке: верхняя — выше её головы, широкая, длиннопалая. Нижняя — вровень с её грудью, поменьше, поуже.

Она стояла перед плитой долго — по своим меркам непозволительно долго.

Потом сказала — вслух, потому что молчать перед такой вещью было бы невежливо, а вежливость с дверьми у неё была профессиональная:

— Я посмотреть.

И положила ладонь в нижнее ложе.

Камень под ладонью был тёплый. Не нагретый — тёплый изнутри, живым теплом, как бок печи к утру. И он отозвался. Не звуком, не светом: под кожей, в самом камне, что-то подобралось и повернулось ей навстречу. Так поворачивается к руке замок, узнавший свой

ключ, — всем нутром, с готовностью, от которой делается не по себе. Нижняя половина плиты была живая. Она ждала. Она, похоже, ждала давно.

До верхнего ложа она дотянулась, привстав, второй ладонью. Оно было холодным. Камень как камень, мёртвый, гладкий. Половина двери спала, и без неё вторая половина могла подбираться и поворачиваться сколько угодно: плита не сдвинулась ни на волос. Даже не подумала. Дверь была не заперта — дверь была недослушана.

За всю её жизнь — за все замки, все окна, все чужие пороги — ей ни разу не понадобился для двери второй человек. Она стояла, держа ладонь в тёплом каменном ложе, и додумывала эту мысль до конца, когда из-за плиты пришёл толчок.

Беззвучный. Не в дверь — в ладонь: короткий, мягкий, в её пять пальцев, будто с той стороны, изнутри, на то же самое место, ладонь в ладонь, легла чужая рука.

Айра стояла не дыша. В тишине было слышно только её собственное сердце.

Толчок повторился. Тише. Терпеливее.

За камнем знали, что она пришла. И умели ждать.

Глава 4. Полынь

Правая ладонь со вчерашнего дня жила у Айры на особом положении.

Ничего с ней не случилось — пять пальцев, все её, работали как нанятые. Просто ладонь не отпускало. Стоило забыться — за едой, на лестнице, над умывальной лоханью, — и в ней заново вставало то тепло и тот мягкий толчок изнутри камня, ладонь в ладонь. И Айра ловила себя на том, что сжимает кулак, как монету, которую боятся показать. За руками она всю жизнь следила строже, чем иные за детьми, и вот пожалуйста: у правой завелась личная жизнь. С камнем. Под академией. Даже сплетню такую не расскажешь — засмеют.

С этим надо было идти к кому-то, кто понимает. Список получался короткий, как её должность. Штаб в разъезде. Скарб ниже второго не ходит и честно верит, что там нет дверей. Арден пробовал — и выходил из заколоченных уборных. Ректор... ректор сказал при всём дворе, что там ничего нет. С этой лжи ей и следовало снимать пенки — молча, не признаваясь, что поняла.

Оставался один человек. Тот, при котором слово «вещь» уже звучало вслух — с телеги, на прощание, вместо доброго пути. «Меня спрашивали, где лежит одна вещь. Три ночи спрашивали». Человек этот жил теперь там, куда не пишут писем, — и в этом была первая загвоздка. Куда её увезли, Айра не знала. Ей было велено не спрашивать, и она исправно не спрашивала. Но «не спрашивать» и «не найти» — вещи разные. На этой разнице у неё за жизнь выстроилась целая наука.

Итого: ехать надо к женщине, которой нет, в место, которого не знаешь, через возчика, которого не видно, — спросить про вещь, которой никто не видел. В прежней её жизни такой расклад называли бы горячкой. В нынешней это называлось «съездить за травами».

* * *

Наука начиналась с малой склянки тёмного стекла.

Склянка жила у неё с конца весны — «по глотку, когда себя переработает». Своё она давно отслужила: последний глоток ушёл в один из тех вечеров, о которых Айра предпочитала помнить только то, что они кончились. Пустая посуда, по уму, полагалась к возврату. А ещё пустая посуда была письмом, которое нельзя перехватить: без имени, без строчки, без адреса. Для любого чужого — стекляшка. Для одной сухой женщины с лекарским узлом — «мне нужен новый настой», и подпись, и печать, всё разом. Жаль, с Советом так нельзя. Хотя с Советом, если подумать, она примерно так и переписывалась.

Айра завернула склянку в чистую тряпицу и перевязала лекарским узлом — тем, который вяжут одной рукой. Подсмотрела когда-то, с тех пор вязала не глядя. И пошла искать телегу.

Телега нашлась у задних ворот и была занята государственным делом: Марга принимала с неё капусту. Кочаны шли по рукам дворни, борт ходил ходуном, а над козлами стоял столб трубочного дыма — прямой, довольный, как хорошо протопленная печь.

Айра пристроилась к разгрузке — руки заняты, разговор законен.

— Здорово, хозяйка, — окликнули её из-под этого дыма. — А я тебя по походке узнал. Ты у нас теперь начальство, слышал. Над подвалами и всем, чего нет.

— Быстро у вас новости ходят.

— Так я же их и вожу.

Спорить с этим было невозможно, да и незачем: человек держал весь окрестный рынок новостей и брал за это капустой. Айра приняла кочан, передала дальше и спросила в порядке светской беседы, как дела у невидимого человечества.

Тут выяснилось, что перепись и до Гурта дошла. Восторг у него был новый, ещё не обновленный.

— Меня, девица, записали. — Дым качнулся с достоинством. — Со слов. Пришёл к писарю, встал перед столом. Писарь — человек казённый, ему положено на кого писать смотреть. А смотреть на меня — сама понимаешь. Три часа мучился, бедный: то на дверь пишет, то на стул. Потом плюнул и записал на голос. Так и стоит теперь в бумаге: «росту среднего, лицом — со слов».

— А бумагу-то дали?

— Дали. — Голос налился гордостью. — Справка. Что я есть. Первый документ за всю жизнь, между прочим. Только вот беда: как он мне её в руку вложил — она и пропала. Стала моя — стало и не видеть. Писарь под стол полез: думал, обронил. Выписал вторую, придерживал за уголок, сам мне в ладонь довёл — и та же история. Из его пальцев в мои — и нету бумаги. Он уж и третью взялся писать, да я не дал: жалко человека, у него дети.

С заднего борта дворян спорила, считать ли капусту кочанами или возами. Ягода стояла в оглоблях и жевала с видом лошади, у которой все бумаги давно в порядке.

— А Ягodu записали первой, — не удержался Гурт. — Её писарю видно. Она у нас теперь в семье старшая по документам. Я ей об этом стараюсь не напоминать, а она мне — каждый день. На неё, слышь, в конце концов справку мою и переписали. Возит под ремешком, в сбруе. Кто спросит, есть ли Гурт, — тому на лошадь показываю. Лошадь подтвердит.

Ягода в подтверждение переступила с ноги на ногу — неспешно, с весом, как человек, у которого всё записано.

— И эта не пропала?

— Эта — нет, эта Ягодина. — В голосе послышалось законное торжество мастера, нашедшего обход. — Я под ней и расписался, своей рукой, чтоб всё по чести. Писарь говорит: подписывайте, кто таков. Я и вывел, как оно есть: «Я есть. Гурт».

Первая подпись на моей памяти, в которой нет ни слова вранья. Профессионально завидую.

Айра выждала, пока капустный поток унесёт дворян к погребу, и подошла к козлам вплотную — поправить упряжь, если кто спросит. Свёрток ушёл под сиденье сам, одним коротким движением. Айра на него и не посмотрела.

— Той, что травы знает, — проговорила она негромко. — От отвезённой. Пустую посуду возвращаю, полную бы забрала. Сама. Где скажут.

Дым над козлами не изменился. Только вожжа шевельнулась — легла поудобнее.

— Экая ты вежливая посуда пошла, — отметил Гурт задумчиво, ни к кому в особенности. — Ну, поглядим. Капусту вот развезу...

Больше ничего сказано не было: груз взят — накладную не спрашивают.

Уже на выходе со двора её нагнал голос Гурта — не ей, Ягоде, но громко:

— Слыхала, старшая? Я ж про справку для порядку обмолвился — одному человеку, у колодца. А ко мне обратно приехало, будто меня на той переписи двое видели. Своими глазами! Один даже говорит: рыжий. — Козлы возмущённо скрипнули. — Я с этим слухом даже не согласный. Вот и делай после этого людям новости.

* * *

Разрешение на выезд она взяла в тот же вечер — просто и почти честно. «Почти честно» вообще было её любимым сортом честности: держится дольше чистой правды и пахнет лучше чистого вранья.

Ректор нашёлся во дворе, у конюшен. Перепись съедала его дни кусками, и куски эти носило по всей академии. Айра подгадала шаг так, чтобы поравняться на людях: при конюхе и при страже такие разговоры короче.

— Господин ректор. Мне нужно за стены. На день, может, на два.

— Надобность?

— Травы. — Она сказала это скучным голосом человека, которому нечего скрывать, и почти не соврала: травы впереди были самые настоящие. — По осени самый сбор. Лекарская просила.

Пауза перед ответом была короче обычной: служебная, при свидетелях.

— Отработки за вами нет. Должность позволяет. — Он уже поворачивался к конюху, к своим кускам переписи, и последнее договорил через плечо, тем же казённым тоном: — Полынь берите подальше от тракта. У тракта она пыльная.

И ушёл.

Полынь, значит. У тракта пыльная. Вот и пойми: то ли попрощался, то ли благословил, то ли просто у человека в голове одни заготовки и он выдал ближнюю.

В кармане она опять поймала себя на сжатом кулаке и разжала его усилием. Ещё не хватало обсуждать это с рукой при страже. Потом пошла собираться: огарок, кресало, хлеб. В дорогу она всю жизнь собиралась быстрее, чем иные зевают: всё ценное на ней, всё остальное — не её. Богатые люди зовут это бедностью. Она звала это готовностью.

Над двором, высоко, прошла первая связка перелётной мелочи: листовые книжицы тянулись к югу неровным клином. От стаи на крыше поварни им вслед поднялся долгий шелест — не то прощались, не то пересчитывали своих. Осень вставала на крыло.

* * *

Телега пришла за ней через день, до рассвета, к задним воротам, в час, когда даже Стихоплёт ещё не рифмует.

— Полежай, — позвали с козел буднично. — Сена постелено. Поедем не скоро и не прямо, ты уж не серчай. Такой заказ.

— Заказ мой и есть.

— Вот я и говорю: не серчай на себя, — рассудил Гурт и тронул.

Мудрость с козел. Дожили: лучший совет за осень мне выдал человек, которого нет, — и ведь не поспоришь, что характерно.

Ехали кружно. Это Айра поняла на первом же повороте — и на втором, и на третьем, а дальше начала понимать лишнее: что мост под колёсами дощатый, тот самый, за мельницей, что воду слышно слева, а значит, взяли к северу, что по счёту поворотов выходит...

Выходило, что голова работала. Голова у неё всегда работала — этим она кормилась все свои уличные годы: пройди раз и запомни навсегда, дорога — тот же замок, только длинный. Она лежала на сене, смотрела в серое небо и ловила себя на счёте — за руку, поздно, как карманника.

Не считай. Кому сказано.

Рука-то ладно. Рука чужого не брала. А вот голова брала сама — походя, привычкой, из одного мастерства. Плеск на сваях: переправа старая, брёвна стонут вразнобой. Дым с килькой: угольщики, забрали к лесу. Колокол считанный, надтреснутый... Она поймала себя в четвёртый раз, разозлилась и стала делать то, чего не делала никогда в жизни, — забывать нарочно. Пускать приметы мимо, как чужие кошельки в ярмарочной толпе: вот он, рядом, сам в руку идёт — а ты идёшь дальше, потому что не за ним пришла.

Это оказалось трудно. Труднее всего, что она в жизни пробовала руками и головой. Первая наука, в которой мастерство меряют пустотой: чем меньше принесла, тем чище сработала.

Чего голова не знает, того у неё не спросят. Раньше это правило берегло её собственную шкуру и слушалось легко. Теперь оно берегло чужую — и скрипело, как несмазанное.

Красть я умею. Не красть — учусь вторые сутки, и уже понятно, почему честные люди такие уставшие.

— Гурт. А ты как едешь, чтоб не помнить?

— А я не езжу, чтоб не помнить. — Вожжи качнулись философски. — Я езжу, чтоб другие не помнили. Услуга у меня такая, из главных. Вся округа знает: надо съездить так, чтоб потом самому себе рассказать нечего было, — это к Гурту. Свадьбу тайную свозить, должника от описи, зятя от тёщи. Верчу дорогой, пока у седока в голове не устанет. Ягода маршрут знает одна, а Ягода, — он значительно помолчал, — лошадь. С неё спросу нет, у неё всё спрошенное в овёс уходит.

— А сам?

— А что сам. Мне помнить можно, меня спрашивать несподручно: пока найдут, пока глаза посмотрят... — Гурт хмыкнул. — На мне, девица, любая тайна как в яму падает. Наша с Ягодой яма. Семейное дело.

Деревни по дороге шли осенние, работные — и в каждой второй стояла перепись. Не такая, как в академии, — тише и хуже. У колодцев не спорили о нтрах и не делали ставок. Там бабы вполголоса перечисляли, кого в соседнем селе «повезли уточнять»: старосту с надтреснутой памятью, вдову, у которой в бумагах муж живой, парня, который «не сошёлся годами». Слово «уточнять» здесь выговаривали вполрта — как дурную болезнь, чтобы не накликать.

— А назад-то их... — начала Айра и не закончила.

— Ну отчего ж. Старосту вернули. — Гурт помолчал ту малость, какую молчат над недосказанным. — Уточнённого.

До места добрались за полдень. Где оно, это место, Айра взаправду не знала — знала только, что ехали долго, что под конец пахло рекой и мокрым песком и что последний кусок Ягода шла шагом по мягкой земле, без дороги. Выселок стоял на отшибе у воды: изба, банька по-чёрному, три улья брошенных, серых. У избы сушилось бельё, развешанное не по-здешнему аккуратно, а над притолокой, прибитый гвоздём, висел пучок полыни, серебристый, горький даже на вид.

Здешние, надо думать, вешали её от нечисти.

А эта хозяйка — Айра готова была спорить на что угодно — от гостей: нечисть полыни не боится, зато любой местный при виде пучка вспоминает, что забыл дома дела. Примета старая, надёжная — как раз во вкусе Тиллы.

* * *

Тилла вышла на крыльцо раньше, чем Ягода остановилась, — стояла, вытирая руки, и смотрела, как Айра слезает с сена.

Постарела она за лето или нет, сказать было нельзя: такие люди стареют один раз и заранее. Но суше стала — точно. Второй раз сняться с места — это, надо думать, как второй раз умереть: привычнее, а здоровья берёт больше.

— Доехала. — Тилла оглядела её, как оглядывают принесённую на починку вещь: быстро и по местам будущих поломок. — Худая. Настой, стало быть, пила не зря. Заходи.

Худая. У Марги я «наконец на человека похожа», у Тиллы — худая. Вот и живи между двумя сводками.

С задов избы мерно стучал топор — хозяйский, без роздыха. По одному этому стуку Айра поняла, что второй жилец выселка жив, здоров и до сих пор ни у кого не спросил разрешения. У порога она обошла свежую поленницу, сложенную с нечеловеческой аккуратностью. Так кладут дрова те, кто всю жизнь топил чужие печи.

В избе пахло полыньёю, творогом и новой глиной: печь стояла наполовину разобранная, и по её нутру было видно — тут работает человек с мнением. На полке у окна, среди тёмного стекла, обнаружилась и та самая склянка — вымытая, просохшая, поставленная к своим. Доехала, между прочим, раньше хозяйки и уже освоилась.

— Он у меня третью печь перекладывает, — пояснила Тилла без выражения, перехватив взгляд. — Эту да банную. А третья и не моя вовсе: за ивняком дом пустой стоит, хозяева съехали ещё прошлой зимой. Он туда влез, пока я за травами ходила. Вернулся, доложил: тяга там была дурная, он спать не мог.

— А хозяйева?

— Я тоже спросила. — Тилла качнула плечом. — Говорит: вернутся — обрадуются.

Сарн вошёл, будто услышал, — с охапкой, узнал Айру и кивнул, как своей: коротко.

— Дрова у неё опять сырые, — отчитался он вместо приветствия. — К зиме будут сухие. Я посчитал.

— Он посчитал, — эхом подтвердила Тилла, и в этом эхе годами нажитой покорности было больше тепла, чем в ином объятии.

Сарн сгрузил охапку у печи, оглядел разобранное нутро взглядом человека, у которого до всего дойдут руки, и ушёл обратно к колоде. За стеной снова застучал топор — мерно, как часы. Часов тут не завели.

В этом доме, сообразила Айра, считали только дрова. И это был, вообще-то, самый здоровый счёт из всех, какие ей попались за осень.

За стол сели по-здешнему: хлеб, творог, отвар. Разговора Тилла не начинала — резала хлеб. У неё это выходило, как у Марги с квашнёй: дело вперёд слов, а слова, когда созреют.

— Посуду вернула, — начала она наконец. — Спасибо. Вопрос теперь: за какой надобностью человек едет день в телеге отдавать пустую склянку. — Она подняла глаза, сухие и внимательные. — Говори. Что знаю — скажу.

И Айра сказала. По порядку, как здесь было заведено. Перепись. Очередь, у которой её строка последняя. Слова, сказанные ей в тёмный пол: есть вещь, которую Совет боится больше её крови. Ярусы, которых нет. Место под ними, которое старше академии. Друг, которого оттуда разворачивает так, что он выходит из заколоченных уборных. И дверь. Плита с двумя ладонями, из которых живая — одна.

Про толчок она договорила уже в полной тишине — только топор стучал за стеной, и то, показалось, реже.

— Оно ответило. В ладонь. Как рука руке. Там, внизу, лежит что-то живое, и оно знает, что я приходила. Вот моя надобность. При тебе про эту вещь говорили вслух — ты одна на всём свете, с кем про неё вообще можно говорить. Спрашивали тебя три ночи. Что спрашивали?

Тилла дорезала хлеб. Отложила нож. Руки у неё так и остались на столе — сухие, в старых ожогах от трав.

— Где лежит. — Ответ у Тиллы был, судя по голосу, давно готовый — отлежался за годы. — Только это. Не что она, не какая она — где лежит. Я тогда решила: клад ищут, дурни. Смеялась потом — сколько там у меня смеху оставалось. — Она посмотрела на правую руку Айры, распластанную по столу тем же манером, ладонью вниз, и не отвела глаз. — А она, выходит, вон где. Под тобой. Под вами всеми.

— Ты говорила — не видела её и мне не советуешь.

— Не советовала. — Тилла произнесла это сухо, как читают старую запись. — Опоздала я с советом, вижу. Она тебя уже... — сухая рука шевельнулась, подбирая слово не из лекарского ряда, — окликнула. Окликнутому советовать — что вслед кричать.

За стеной смолк топор. Сарн вошёл, сел к столу без приглашения и налил себе отвара. Приглашений тут не водилось: жили люди, у которых всё давно спрошено.

— Я слышал, — сообщил он. Врать тут тоже было не заведено. — Стены тонкие, а слух у меня теперь без изъяна. Вылежался. — Он отпил, поставил кружку и посмотрел на Айру тем же тяжёлым взглядом, что тогда, с порога залы. — Я тебя спрашивал по весне. Кто тебя отпирать будет, когда до тебя доберутся. Помнишь.

— Помню.

— Ну вот я с тех пор подумал. Времени у меня много, печи — они думать не мешают. — Он говорил, как клал кирпич: слово к слову, с перевязкой. — Неправильно я спрашивал. Запертого отпирать — это уже поздно, это уже милость нужна, чужая рука, случай. Я вон сколько ждал, пока меня отопрут, — дождался, повезло, дура попалась добрая. — Кивок в сторону Айры был точным, как замер.

Дура добрая. Ну хоть где-то я прохожу под точным званием — а то всё «адептка» да «адептка».

— А везение — это не план. План — это чтобы запирасть стало нечем. Замок ихний — сломать. Не спрятаться от него. Не пересидеть. Сломать, чтоб ни на тебя, ни на другого какого больше не находился.

— Легко сказать, — уронила Тилла.

— А я и не говорю, что легко. Я говорю, что правильно. — Сарн допил и встал: разговор был выложен до перевязки, дальше пошло бы баловство. — Печь доклада.

И вышел. Тилла проводила его взглядом, каким провожают дождь или разлив: спорить не с чем, жить можно.

— Вот так у нас всю дорогу. Молчит, молчит, потом выложит стену — и опять на полгода. — Тилла встала к полкам, где выстроилось её кочевое хозяйство: пучки, туеса, тёмное стекло. — Настой я тебе сделала третьего дня, как твою посуду привезли. Ночь настаивался.

На стол перед Айрой встала склянка. Потом вторая. Потом, после короткой заминки — Тилла что-то прикинула про себя, поджав губы, — третья. В её прежнем деле такие ряды на столе назывались уликами. Обвинение по ним выходило без единого слова.

Айра посмотрела на этот ряд, и под ложечкой похолодело. Считать тут было нечего — и всё было сосчитано. Прошлой весной ей хватало одной малой. К свадьбе Тилла прислала вторую, вдвое больше: посчитала цену той весны издалека. Теперь перед ней стояли три, и третья была больше второй.

— Это как понимать?

— Как лекарскую сводку. — Тилла села напротив. — Я вас, окликнутых, не видала, врать не буду. Но я травница: я по расходу сужу. Расход у тебя пойдёт большой. — Она подвинула склянки ближе — все три, ребром ладони, как двигают чужую ставку. — По глотку. Когда себя переработаешь. Не раньше и не позже: раньше — переводить добро, позже — переводить тебя.

— Спрашивать, на что ты решилась, не стану, — добавила Тилла, поднимаясь: гостевание кончалось, у трав было своё расписание. — Мне нельзя знать, тебе нельзя говорить, и обе мы это выучили без подсказки. Одно скажу, безопасное. — По дороге к двери она сняла с притолоки серебристую щепоть — от пучка, самую малость — и растёрла в пальцах. Горько запахло по всей избе. — Полынь, вишь, отчего у меня над дверью? От неё все ждут, что она от нечисти. А она — от людей. Нечисть горького не боится. Люди боятся.

Она высыпала растёртое в ладонь Айре — щепоть серой трухи, горе-оберег, грош цена в базарный день. Айра приняла с уважением. За жизнь она выучилась верить только грошовым оберегам: те, что дороже, охраняют обычно продавца.

— Возьми. Не от чего-нибудь — от привычки прятаться за сладкое. Как соберёшься врать, что всё хорошо, — понюхай. — И добавила, уже от двери, суше обычного: — Той вещи не обещай ничего. Услышит.

* * *

Обратно выехали в сумерки. Гурт объявил, что ночью его дороги короче. Ягода взяла с места охотно — стало быть, семейное дело жило и ночным извозом.

Айра лежала на сене, поворотов не считала — наловчилась уже, пускала мимо — и подводи́ла итоги, как после удачного дела: что везём. Везла она три склянки, чужой план из одного слова, щепоть полыни от вранья самой себе и наказ ничего не обещать вещи, которой нет. Богатый выезд. За такой в иных кругах, поди, пришлось бы делиться.

Правую руку она держала раскрытой на колене, ладонью вверх, к первым звёздам. Ладонь молчала. Ей это нравилось больше, чем должно было.

Разъезд они встретили на втором часу, у развилки при старом столбе.

Четверо верхами, фонарь на шесте, столичная посадка. Спины прямые, казённые — не здешняя сутулость. Такие спины в седле не работают, а служат. Ехали неспешно, вполголоса. Навстречу им попалась подвода, чужая, гружённая жердями, и один спросил что-то у возницы — громко, не наклоняясь. Слов Айра не разобрала. Ей хватило манеры. Так спрашивают, когда ответ не нужен, а нужно, чтобы спрошенного видела вся дорога.

Знак под рубашкой отозвался коротким холодком — не всерьёз, вполсилы, как собака, поднявшая ухо во сне.

Дешёвая работа, подсказал ей голос из прошлой зимы. Дёшево ищут те, у кого горит срок.

Гурт свернул с дороги за полсотни шагов до развилки — мягко, в травяной прогал, будто всегда тут и ездил. Никто его ни о чём не просил, и дым над козлами не шелохнулся. Выждал в тени старой ветлы, пока фонарь не утёк за холм, и вывел Ягodu обратно на колею.

— Тоже примета, — сказал он погоды, в сторону, никому. — Как полынь, только наша, извозная: столичный в наших краях по ночному делу — к ранней зиме. — Над козлами затеплился огонёк трубки, разгорелся и снова притух. — Оно, может, и не по твою душу, девица. Может, и не по твою.

Он помолчал и добавил то, ради чего, собственно, начинал:

— Но ехали они оттуда, куда тебе. В академию твою.

Глава 5. Наследство Дейнов

Академию Айра застала в состоянии, которое у людей называется «гости на пороге — прячем мусор под ковёр», а у служб — подготовкой.

За два дня её отсутствия двор будто перетряхнули: у складов горели фонари, дворня таскала тюфяки стопками выше себя, из прачечной валил пар, как из бани. А посреди всего этого стоял Отт с новым листом в руках и лицом человека, которому наконец вернули смысл жизни. Лист был третий за неделю. Отт прижимал его к груди так бережно, что сразу было видно: такого счастья службе не выпадало, поди, со времён позапрошлого ректора.

Адепты приезжали через три дня. Академия готовилась к ним, как к наводнению: удержать всё равно не выйдет, но хоть тюфяки вынести повыше.

Сама она вернулась позже, чем рассчитывала, и не по своей вине. Гурт после встречи с ночным разъездом прямых дорог не признавал: вёз её своими прогалами, с долгим отстоем в каком-то орешнике, и довёз до академии только к вечеру второго дня.

У ворот репетировал Стихоплёт. Приветствие новичкам он, надо думать, сочинял всё лето и теперь прогонял начисто — с чувством, с раскатом, со всеми положенными «внемли» и «гряди». Айра прошла под аркой на середине четвёртой строфы и прикинула по опыту: строф там не меньше десятка. Камень готовился встретить молодёжь так, чтобы самые слабые развернулись сразу. Отбор в Архонтии начинался до порога.

— «...и знанием, аки ключом, отопрёшь...» — гудел ей вслед Стихоплёт.

Отопрёшь, отопрёшь. Кто бы знал, камень, до чего ты нынче кстати.

Айра прошла двор насквозь, и никто её не остановил: пыльная, с дороги, со свёртком под мышкой — она сходила за свою же дворню. Первым делом сдала легенду.

Марга приняла свёрток на кухонный стол, развязала, перебрала пучки быстрыми пальцами — так менялы пробуют монету на зуб.

— Полынь, — опознала она без восторга. — Зверобой. Ещё полынь. Это что ж, лекарская теперь и от меня будет требовать, чтоб я ей горечь заваривала?

— Это от моли.

— От моли у меня лаванда. — Марга отложила один пучок, самый ладный, себе — как пошлину. — Ладно. Скажу, чтоб забрали. На ужин не поспела, довольствие не выдаю, но хлеб на полке, и если кто отрежет тонко, я не услышу.

Отрезано было не тонко. Марга не услышала с большим достоинством.

Склянки Айра развела по местам ещё в сумерках, не заходя к себе: одну в схрон при лекарской, вторую за печную приступку, третью, самую большую, — в угол, который не стала запоминать нарочно. Наука свежая, дорожная — вот и пригодилась. Щепоть полыни осталась в кармане. Оберег за грош и места занимал на грош. Тем и хорош.

А потом она пошла искать ректора. Откладывать этот разговор дальше — уже не осторожность, а трусость. А трусость она себе позволяла только по мелочи.

* * *

Нашёлся он, как всегда в эти дни, на ногах — в галерее у Архива, со связкой ключей, в одиночестве: обходил на ночь то, что днём обходить не успевал. Перепись съедала его сутки с обоих концов. Спину он держал прямо даже здесь, в пустой галерее, для одного себя. Вот по ней и было видно, чего ему эта выправка стоит.

— Адептка Сол. — Он не обернулся: узнал по шагам, хотя шагов она не делала слышных. — Вернулись. Травы?

— Целый мешок. Марга уже отобрала пошлину.

— Значит, довели. — Ключ повернулся в очередной двери и вернулся на связку. — Что-то ещё?

Это была дверь, приоткрытая ей: входить или нет — сама решай.

Вот что мне в нём нравится: другой бы спросил «как съездили». Экономия — почти как воровство, только законная.

Айра вошла.

— На обратной дороге был разъезд. Четверо, столичные, посадка строевая. Спрашивали встречных — громко, напоказ. — Она помолчала и доложила главное, голым фактом: — Ехали они не куда-нибудь. Ехали отсюда. От академии.

Ключи в его руке перестали звенеть.

— Дальше.

— Дальше — всё. Я не разговаривала, меня не видели. — Она выдержала его взгляд и выложила то, зачем пришла: — Вы сказали при всём дворе, что ниже второго яруса ничего нет. Я там была. Оно ответило мне в ладонь. Так что теперь вы скажете мне, что там есть, — потому что я уже стою в этой истории по пояс, и тонуть в ней вслепую мне не нравится.

Пауза у него была длинная — не заготовочная. Заготовки на такое, судя по всему, не нашлось даже у него.

— Вы были за аркой.

— Я по должности вижу академию всю. — Она пожала плечами. — От подвалов до крыш. Про глубину в бумаге не сказано.

— Про глубину в бумаге не сказано, — повторил он медленно, как пробуют чужую отмычку в своём замке: с недоверием — и всё-таки пробуют. И, что удивительно, спорить не стал. Смотрел на неё долго, потом на тёмную галерею, потом на связку ключей в собственной руке — так, будто прикидывал, которая из этих дверей всё равно уже не запирается.

— Хорошо, — решил он наконец. — Только не здесь.

И повёл её — не к кабинету. В другую сторону.

* * *

Куда идёт этот коридор, Айра знала и раньше — знать полагалось. Но дальше поворота не совалась: за поворотом начинались две двери, которые не значились ни в одном её списке, и обе пахли жилым. За год в академии она успела выучить простую вещь: у ректора Архонтии где-то есть комнаты, и лучший способ сохранить к нему уважение — не знать, какие.

Теперь узнала.

Комнат было две, и обе могли бы принадлежать человеку, который здесь ещё не поселился. Стол, кресло, узкая кровать за перегородкой, полка с дюжиной книг, очаг. Ни ковра, ни портретов, ни серебра.

Его что, обнесли? И, главное, кто успел — по этой части я тут вроде как одна.

Айра оглядела хозяйство взглядом старого мастера — по привычке, которой не прикажешь. Опись вышла короче, чем у неё самой в первый академический вечер. Из ценного здесь имелись: подсвечник тяжёлого литья, но без пары — одинокий, как зуб. Письменный прибор хорошего камня, стёртый до бесстыдства. И огниво на каминной полке — старое, с гербовой насечкой, сглаженной годами. Всё. Она видела каморки подмастерьев побогаче. Воровская душа в ней прямо-таки оскорбилась: сюда даже лезть было бы стыдно. Не из уважения — из жалости.

Нет, не обнесли: обнесли бы — начали с подсвечника. Последний из великого дома, наследник всего: двенадцать книг и очаг. Либо про великие дома сильно врут, либо у этого дома всё вынесли задолго до меня.

Как выяснилось в следующие полчаса — второе было ближе к правде, чем ей бы хотелось.

Ректор занялся очагом сам: присел, сложил растопку, высек огонь с одного удара. Руки легли привычно — прислуги в этих комнатах, стало быть, не бывает. Огниво — то самое, гербовое — вернулось на своё место над очагом. Айра проводила его профессиональным взглядом, и пока хозяин ставил на огонь ковшик с отваром, огниво тихо перестало лежать на полке.

Не из жадности. Для дела. Своего часа оно дожётся — а пока пусть полежит в рукаве. — Садитесь, — велел он, не оборачиваясь.

Она села. Кресло было одно, и он его отдал ей, а сам остался у очага — на корточках, спиной, вороша растопку. И заговорил в огонь: некоторые вещи проще рассказывать дровам.

— Вы спрашивали, что там есть. — Полено легло на полено. — Есть вещь. Одна. Она старше этой академии. Архонтию вокруг неё и возвели. Что она такое — я вам не скажу, и не потому, что не доверяю. Я и сам знаю не всё, а рассказывать половину — это худший способ рассказать неправду.

— Тогда что вы знаете целиком?

— Два обстоятельства. — Он поднялся, снял ковшик, разлил отвар по кружкам — всё это спокойными, размеренными движениями человека, который решил дойти до конца и теперь просто идёт. — Первое: она там есть. Это не слух и не легенда, я отвечаю за это слово. Второе... — он протянул ей кружку, — второе обстоятельство хуже. От неё пробовали избавиться. Давно, до моего деда и до его деда. Не вышло.

— Что значит — не вышло?

— То и значит. — Он сел напротив, на низкий сундук, за неимением второго кресла. — Есть вещи, которые не горят. Не в том смысле, в каком не горит лёд. В настоящем. Её жгли — она оставалась. Ломали — она оставалась. Тогда решили так: что нельзя убрать из мира, то можно убрать из виду. Выкопали место глубже всякой памяти — тогда здесь ещё ничего не стояло. Положили её туда, заперли всеми замками, какие знали, и запретили к ней ходить — открытым словом Совета, при всех, чтобы слышала вся Канцелярия. Расчёт был простой: у людей короткая память. Три поколения — и вещь, о которой нельзя говорить, перестаёт существовать надёжнее, чем если бы её сожгли.

— Расчёт неплохой, — признала Айра. — Три поколения — и нет вещи. У нас так одна улица пропала как-то. — Она повертела кружку. — На ком он сломался?

— На семьях, которым поручили запирать.

Он сказал это без нажима, глядя ей в глаза, и до неё дошло на вдох позже, чем следовало.

— Дейны.

— Дейны, — подтвердил он. — В том числе. Нас было несколько — домов, которые ставили замки и давали слово молчать. Бумаг об этом нет: бумаги Совет забрал тогда же, у бумаг память длинная. Осталось только то, что отец успевает сказать сыну. Мой — успел. — Он отпил из кружки, и пауза случилась не из его отмеренных — эту просто оборвало, как нитку. — Мне было одиннадцать. Он позвал меня чистить родовое оружие — у нас это делалось молча, раз в год, — и между двумя клинками, не меняя голоса, рассказал. Я тогда решил, что это проверка: скажу кому-нибудь — узнают, накажут. Никто не проверял. Просто так это и передаётся: между делом, младшему, один раз. Немного. Что вещь есть. Что она не горит. И что худшее, что можно с ней сделать, — это достать её тому, кто не понимает, что достаёт.

Вот тебе и наследство великого дома. Другим отцы оставляют земли и серебро. Этому оставили яму в три яруса и наказ молчать. Понятно теперь, почему тут двенадцать книг: с таким приданым не до библиотек.

— Поэтому «там ничего нет», — договорила она за него.

— Поэтому «там ничего нет». Я повторяю это двору, Совету и себе который год. — Он посмотрел в свою кружку. — Себе — хуже всего выходит.

— И поэтому вы ходите к арке. Стоять.

Сказала — и прикусила бы язык, да поздно: про следы в пыли она говорить не собиралась. Он поднял взгляд — медленно, без всякого удивления. Не удивился — считай, признался.

— Дальше арки я не хожу, — ответил он просто. — Точнее, хожу. И стою. Там, за защитой, я слеп, адептка. Полностью. Пол уходит, стороны света уходят, остаётся стена под ладонью — если успеть её найти. Дом, который вешал здешние замки, строил их и от себя тоже. Предусмотрительные были люди. — Уголок его рта дрогнул — не улыбка, черновик улыбки. — Хоть этого у нас не отняли.

Огонь в очаге просел, и он потянулся к каминной полке — привычным жестом, не глядя. Рука вернулась пустая. Он посмотрел на полку. Потом на очаг. Потом — на неё.

— Огниво, — сказал он тоном, каким объявляют пропажу казённого имущества.

— Какое огниво?

— Моё. С этой полки. Оно лежало здесь четверть часа назад.

— Здесь было темно, вы могли ошибиться.

— Адептка.

— Может, закатилось. Вещи в старых домах живут своей жизнью, я по должности насмотрелась.

— Адептка Сол.

Айра вздохнула, полезла в рукав и выложила огниво на стол между ними — гербом кверху, со всем возможным почтением.

— Вы сидели в трёх шагах, — уточнил он. В голосе не было возмущения. В голосе был исследовательский интерес: ему показали фокус и не объяснили изнанку. — Смотрели на меня. Разговаривали.

— Слушала, — поправила Айра. — Очень внимательно. Руки при этом скучали. — Она подвинула огниво к нему. — Фокусы показывают за деньги, господин ректор. Это был довод. Вы весь вечер подводите меня к мысли, которую боитесь сказать вслух: что вещь нельзя доставать. А я вам отвечаю заранее: доставать — можно. Вопрос не в замках. Замки — моя часть работы, и вы только что видели, чего она стоит. Вопрос в том, что делать с ней потом, — и вот тут мне нужны вы.

Он взял огниво. Взвесил на ладони — старый герб, сточенный до теней, — и убрал не на полку. В карман.

В карман. От меня. Приятно, когда тебя принимают всерьёз, — хотя, по чести, из этого кармана я бы его тоже достала. Но не сегодня: у меня доводов больше нет, а огниво у него одно.

С самого спуска камень в правой ладони то и дело оживал — теплом, мягким толчком изнутри. А сейчас стало вдруг тихо. Совсем тихо, впервые за все эти дни. Айра согнула пальцы, проверяя. Выяснять, с чего вдруг, было некогда.

— Отец говорил: худшее — достать её тому, кто не понимает. — Он поднял на неё глаза. — Он не говорил, что делать тому, кто понимает половину.

— У меня есть знакомый каменщик. — Айра отпила отвара: про печи говорить было безопасно, печи имён не выдают. — Он недавно объяснил мне разницу. Запертого отпирать — поздно, говорит. Правильно — сломать замок, пока тебя им не заперли. Чтoб ни на тебя, ни на другого какого больше не находился.

— Ваш каменщик — опасный человек.

— Мой каменщик — самый спокойный человек из всех, кого я знаю. Он полжизни думал, прежде чем это сказать.

Про то, где он думал и почему так долго, она уточнять не стала. Дейны, она уже поняла, умели слышать недосказанное и умели его не трогать: он кивнул доводу, а не человеку, и не спросил ни имени, ни адреса. Своим можно не говорить. Своим нельзя врать. На этом они и стояли — оба, уже почти год, и пока держало.

За окном, далеко внизу, бухнул засов: Стихоплёт закрыл ворота на ночь. В очаге стрельнуло. Ректор Архонтии сидел на сундуке напротив воровки, держал в кармане собственное огниво, как вещественную часть, и молчал — на самом краю решения.

— Если мы это сделаем, — проговорил он наконец, — назад дороги не будет. Совет умеет прощать многое из того, что запрещает. Это — не простит.

— Совет и так меня не простит. Я родилась неудобной для его бумаг. — Айра поставила кружку. — Разница только в том, встретит он меня в очереди на сверку — или у пустого места, где лежала его вещь. Первое от меня не зависит. Второе — зависит.

— А что мы будем делать с ней потом, — он сам вернулся к её вопросу, — мы будем решать потом. Это не увёртка. Это порядок работ: сперва достаём — думать о ней сверху ямы удобнее, чем со дна.

Он молчал ещё вдох. Потом встал.

— Тогда берём.

* * *

Договаривали уже не в комнатах. Он вышел проводить её, и разговор сам собой докатился до галереи над двором. Последняя тихая ночь лета лежала внизу — чёрная и тёплая, с единственным жёлтым пятном фонаря у ворот. Пахло остывающим камнем и яблоками из сада — те дозрели до того особого часа, когда падают сами, по одному, с мягким стуком, и никто их не считает. Через три дня здесь будут орать, бегать и ронять сундуки, у яблок появятся хозяева, у тишины — расписание. Сейчас двор спал, и его было почти жаль будить — даже мысленно.

Айра встала у перил, где камень ещё держал дневное тепло. Целое лето этот двор был её — от стены до стены, со всеми крышами и погребями. Странно было думать, что лето кончается не листом на доске и не гонцом, а вот так: ночью, разговором, решением, после которого всё пойдёт быстро.

— Условия, — сказал ректор. Слово легло знакомо, как старая монета: уговоров за ними водилось уже немало, и обоим это по-своему нравилось. — Первое: не в одиночку. Что бы вы ни задумали — я в деле, а не над делом. Второе: без вашей крови. Ваша кровь — самая дорогая улика в этой стране, и тратить её я запрещаю. Третье... — пауза перед словом была отмеренная, из заготовленных, и от этого почему-то теплело, — третье: если станет ясно, что цена выше, чем мы думали, — мы останавливаемся. Оба. Без героизма.

— У вас все условия про то, как меня беречь. А про дело будут?

— Это и есть про дело. Вы — половина дела.

Сказал — и не запнулся: значит, не услышал себя. Айра не стала подсказывать. Просто запомнила оговорку. Дословно.

— Тогда встречное. — Она повернулась к нему, спиной к перилам. — Раз я половина дела, я хочу знать вторую половину. Не сейчас — по мере. Но без этих ваших «вам лучше не знать»: я с этой фразой в одном деле не работаю. От неё люди тонут.

— Согласен. — Пауза перед словом была короткая, рабочая. — С поправкой: «не знаю сам» за отказ не считается.

— У вас этого добра, я смотрю, много.

— Наследственное, — сказал он без выражения, и она не сразу поняла, что это была шутка. Понял ли он сам — осталось невыясненным.

— Тогда моё условие. Одно. Не спрашивайте, откуда я беру людей и слова. У меня есть свои... поставщики. Они не продаются и не выдаются.

— Согласен. — Он смотрел вниз, во двор. — Я умею не спрашивать. Это, пожалуй, единственное, что у меня получается лучше вашего.

— Не льстите себе. Не спрашивать я тоже умею лучше.

— Останемся при своих.

Помолчали. Хорошо помолчали, по-рабочему: дело решено, но ещё не начато. Самый счастливый час любого дела — пока оно ещё никого не подвело.

— Я умею красть вещи, — нарушила молчание Айра. — Всю жизнь умела. Весной вон человека украла — получилось же. Но вещи, которую нельзя сжечь и нельзя показать, я ещё не крада. Интересно, какой у неё вес.

Она сказала это почти легко — и увидела, как он повернул голову. Медленно. С таким лицом, будто весь вечер откладывал одну мысль и теперь обязан её выложить.

— Вес, — повторил он. — Вот именно. Была в отцовской передаче ещё одна часть — я в одиннадцать принял её за семейную считалку. Отец перечислял, кто нёс вещь вниз. Поимённо.

— Сколько?

Он назвал не число. Он назвал хуже, чем число:

— Одним нам не унести. Даже вдвоём.

* * *

Кот спал на кровати во всю свою дарственную длину и на её приход не потратил даже уха. Айре, как всегда, осталась треть — но сегодня она в кровать и не собиралась.

Она села к столу, не зажигая лампы: по темноте она работала лучше, темнота не отвлекает. И выложила перед собой всю летнюю добычу, какая была: щепоть полыни в тряпице, память о трёх склянках, разошедшихся по схранам, огниво... огнива не было. Огниво осталось у законного владельца, в кармане, и почему-то от этой мысли хотелось улыбаться.

Список выходов она не составляла — выходы были не нужны. Вместо него в голове сам собой складывался другой список. Такого она не вела никогда, потому что не из чего было: люди. Кто умеет держать. Кто умеет молчать. Кто умеет не спрашивать. Кто придёт, если позвать, и кого звать нельзя, потому что придёт.

Список получался длиннее, чем она думала. И короче, чем было нужно.

Одним не унести. Даже вдвоём. Ну что, Айра. Всю жизнь ты считала выходы. Посчитай теперь тех, кто войдёт с тобой.

Глава 6. Наводнение

Наводнение началось, как положено наводнению, с малой воды: первая подвода вкатилась в задние воротца ещё до рассвета, и стук её колёс по брусчатке был последним тихим звуком этого дня.

Дальше пошло валом. Мука, солонина, свечи, тюки с зимним сукном для формы, бочки, короба, снова мука. Осенний обоз академия принимала раз в году, и раз в году задние воротца узнавали, что такое настоящая жизнь. Айра стояла при них с мелком и куском доски — принимать обоз полагалось её должности. Летняя смотрительница по всем бумагам кончалась с приездом учеников. Но кончиться ей было некуда: списка, в котором она числилась, по-прежнему не существовало. А увольнять человека из несуществующего списка — задача не для здешних смертных.

Службы вокруг доживали последнее вольное утро — громко и не приходя в согласие. Кухня с ночи топила все печи разом, и Марга щупала привезённые мешки, как лекарь щупает раненых: этого на стол, этого в кладовую, этот не жилец. Стража явилась открывать воротца с опозданием — она всё лето опаздывала на собственные смотры и отучиться за одно утро не сумела. Прачечная с ночи кипятила бельё на весь приезд и утонула в собственном пару: снаружи было не разобрать, трудятся там ещё или уже сдались. А посреди двора, на самой высокой точке брусчатки, стоял Отт со своим листом и оглядывал это всё. Вид у него был как у полководца, к которому наконец-то привезли войну.

Запреты у него были заготовлены с лета — свежие, ни разу не нарушенные. Сегодня им предстояло пойти в дело. И во всём дворе к этой встрече готов был он один.

К подводе с лесом Айра подошла без спешки, с доской под мышкой, как подходила ко всем прочим.

Лес был ремонтный, к зиме: брус, доски, скобы в бочонке, петли в промасленной ветоши. И поверх всего — дверная колода: дубовая, тяжёлая, в человеческий рост. Для какой-то из тех дверей, которые академия чинила третье столетие по очереди. Айра поглядела на колоду. Колода полежала в ответ.

Плана на колоду у неё не было. Но в её прежней жизни хорошие вещи и хорошие дырки редко появлялись одновременно: сперва находишь дырку, потом — что в неё положить, и наоборот тоже работало. Дубовая колода с петлями была из тех вещей, под которые дырка обязательно найдётся.

Она пометила подводу мелом — «к разбору не спешит». И велела двоим с дворни откачать её в дальний сарай при конюшнях, четвёртый от угла. Очередей на разбор в академии было три: спешная, обычная и «после праздников». Четвёртой не существовало — а значит, не существовало и того, кто однажды спросит, куда делась четвёртая. Вещь, спрятанная в чужом порядке, хранится лучше, чем в своём кармане. Карман могут обыскать, а порядок никто не проверяет — на то он и порядок.

— Доброе утро, — сказали сзади.

Ректор шёл через хозяйственный двор своим обходом — тем же шагом, каким обходил галерею. Только тишины этому шагу оставалось часа четыре. Он оглядел гору коробов, паникующую прачечную, Маргу в клубах мучной пыли.

— Готовимся?

— Как к наводнению, господин ректор. Спасаем ценное, остальное учимся не жалеть.

— Разумно. — Он проводил взглядом бочку, которую катили сразу трое, потому что катиться прямо она отказывалась. — К вечеру здесь будет не протолкнуться. Если вам понадобится тихое место, его не будет.

— Знаю. У меня было целое лето тихого места.

— И как?

Айра подумала.

— Переоценивают.

Уголок его рта дрогнул и почти дошёл до улыбки — в этот раз времени не хватило совсем чуть-чуть. Он кивнул и пошёл дальше, к складам. По дороге его перехватила Марга — с претензией на два котла, которые прачечная «увела и не вернула». Слов Айра уже не разбирала. Но по жестам выходило, что котлы Марга ценит дороже прачечной — вместе с паром и всей обслугой, сколько её есть.

Держитесь, господин ректор. Наводнение начинается не с воды. Оно начинается с котлов.

* * *

К полудню пошла большая вода: кареты.

Айра выбралась к главным воротам по долгу службы: багаж тяжелее ручной клади уезжал во внутренние дворы «в порядке очередности». Очередность эту кто-то должен был изображать. Двор перед воротами стоял затором: кареты, сундуки, слуги, которых дальше черты не пускали. И вся любовь, страх и наставления семейств кипели на последних десяти шагах, у конторки писаря.

Писарь был всё тот же, и перо у него было всё то же, и голоса он не повышал.

— Два места при себе. Остальное — в очередность.

— Но это подарки! Для наставников!

— Наставники извещены и держатся. Два места.

У самой черты, по эту сторону, стояла Адалис Кер — учебная часть выставила её к заезду. Никто в академии не умел так вежливо и так насмерть разворачивать чужую свиту. Слуг какого-то среднего дома, пробовавших пронести за черту «самое необходимое», она остановила одним наклоном головы. Те сдались сразу: жест был им знаком по службе.

Айру она нашла глазами с первой попытки и наклонила голову иначе: на полпути между поклоном чужому человеку и кивком своему.

— Адептка Сол. Рада видеть. — И, поравнявшись, вполголоса, не меняя лица: — Кузен ещё не знает, что я остаюсь до весны. Не лишайте меня удовольствия.

И вернулась к черте — безупречная и недостижимая, как всегда. Только теперь это была работа: год назад она сходила с такой же подножки сама.

Над затором, поверх голов, катился торжественный гул: Стихоплёт исполнял приветствие новичкам. То самое, выношенное за лето: Айра узнала «внемли» из четвёртой строфы, которую слышала три дня назад на репетиции. Сейчас шла, надо думать, девятая или десятая. А между строфами страж успевал ещё и работать: рифмовать входящих поимённо. Две очереди разом — так не всякий писарь умеет.

Перед нишей стоял и бледнел мальчишка — из тех, кого в толпе не замечаешь, пока не наступишь. Стихоплёт склонил к нему каменную голову и молчал уже долго. Нехорошо молчал. Творчески. Имён он не спрашивал никогда: поглядит — и знает. Обычно взгляда ему хватало на первую строфу. Тут не хватало.

— О юный Торп... — прогудел он наконец и умолк. — Горб. Недостойно. — Помолчал ещё. — Короб. Худородно. О наследник жерновов, чьи... нет. Жернова я отдал позапрошлой осени. Повторяться недостойно. — Каменные веки тяжело опустились. — Мельники. Это меняет размер.

Мальчишка Торп бледнел с каждым черновиком и к «мельникам» стоял уже белее собственной родовой муки.

Очередь застонала — стон был опытный, слаженный: за утро успели спеться. Чуть в стороне, у стены, стоял парень постарше. Лицо его Айра помнила: год назад на этом самом месте род Кессельроде пережил четверть часа черновиков. Теперь наследник рода смотрел на муки Торпа как ветеран на новобранца: без злорадства, но и без малейшего желания поменяться местами.

— Главное — не отвечай в рифму, — негромко посоветовал он через головы. — Он решит, что это состязание.

Совет ушёл в толпу, толпа передала дальше.

— Стихоплёт! — гаркнули от карет. — А по мне ты тоже скучал? Или только по свежим?

Очередь застонала снова, но уже иначе — с надеждой: этот голос явно знал, что делает.

Тай шла через затор тёплой волной: сундук на плече, дорожный мешок поперёк груди. Толпа перед ней расступалась сама — так расступается всё, что легче и холоднее. За два шага до ниши она остановилась и посмотрела на стража снизу вверх — сияя.

— Не отвлекайте меня, адептка! — Каменная голова даже не повернулась. — Я могу потерять... так. На чём я остановился? Хм. — Пауза сделалась подозрительно долгой. — Начнём сначала.

— Что, всё приветствие?! — ахнул кто-то в очереди.

— Искусство, — с достоинством прогудел Стихоплёт, — не терпит середины.

Очередь взвыла. Тай обернулась к очереди и развела руками — свободной рукой и плечом с сундуком. Мол, хотела как лучше, имейте совесть, я вам тут единственное развлечение. Мальчишке Торпу она бросила, проходя:

— Не бойся, малёк. Он добрый. Просто вечный.

А потом увидела Айру — и затор перестал существовать.

Сундук поехал с плеча и встал на брусчатку со звуком брошенного якоря. В следующий миг Айру взяли в объятия, в которых кончился воздух и началось лето: от Тай пахло дорогой, домом и корицей — корицей она, кажется, пахла даже во сне.

Потом Тай отодвинула её на вытянутые руки и оглядела с ног до головы.

— Так. Похудела. Не спорь, я вижу. У меня на этот случай всё привезено. — Дорожный мешок был расшнурован одним движением, и в руки Айре лёг свёрток размером с хорошее полено, тёплый, тяжёлый и пахнувший так, что ближайшие полтора человека очереди обернулись. — Держи. Это с дороги. В сундуке ещё три таких, вопрос закрыт, возражения не принимаются.

— Я не возраж...

— Вот и правильно, я всё равно не слушала. — Тай вскинула сундук обратно на плечо, как вскидывают ребёнка, и просияла ещё шире. — Ты мне всё расскажешь. Что было, чего не было и что ты опять недоговариваешь, — я по лицу вижу, что недоговариваешь, у тебя лицо честное-честное, аж подозрительно. Но сперва казарма. Если мою комнату отдали — я буду горевать. Громко. Всем слышно будет.

И тёплая волна покатила дальше, к арке. А Айра осталась со свёртком в руках и с тем чувством, которое за год так и не подобрало себе названия: будто печку, которую ждали к зиме, привезли, не дожидаясь холодов.

Свёрток она, разумеется, оставила себе. Отказываться от еды её жизнь не научила, а Тай — тем более.

Разгрузку у арки к тому часу академия принимала с двух сторон. Со двора сундуками распорядился мастер Брек — по-плацевому, командами. От ворот их пропускал капитан Брук, по-постовому, с подозрением. Оба пятились, командуя каждый со своей стороны. У одной подводы они наконец встали борт о борт — и обернулись одновременно.

Очередь ахнула. Рядом стояло то, о чём в академии годами шептались: одно лицо — дважды, на расстоянии локтя, и на обоих одинаковое выражение глубокого взаимного непризнания. Оба оскорбились разом, зеркально — и этим доказали двору всё окончательно.

— Они братья что ли? — спросил кто-то.

— Да ты на них посмотри, единоутробные, точно тебе говорю, — отозвались из очереди.

* * *

Новички тем временем копились за аркой одной толпой: ворота пропускали их по одному, а двор собирал обратно вместе. К середине дня брусчатки под ними стало почти не видно. Наводнение, как ему и положено, прибывало.

Свободным во всём дворе оставался один пятак — у восточной стены, под белым деревом. Туда не вставал никто. Новичкам никто ничего не объяснял, да они и не спрашивали: просто толпились теснее, чем нужно. Пятак оставался пустым. А белое дерево стояло над ним без единого листа — как стояло летом и как будет стоять зимой.

Последним прибился Торп: над воротами, с опозданием на четверть часа, но с достоинством, прогремело наконец:

— Врата приветствуют адепта Торпа!

При нём не меч, не грамота — а торба,
зато с мукой, а не с пустой казной.

Мели, юнец: наука — жёрнов твой.

Судя по лицу Торпа, он ещё не решил, оскорбили его или наградили. В очереди завидовали: рифму на «Торпа» двор, поди, будет пересказывать до зимы.

Половодью полагался провожатый — и провожатый не заставил себя ждать.

Объявился он из-за угла поварни: бурый балахон до земли, ручища-лопата, зычное «Новоприбывшие! Все ко мне, кучкой!». Толпа потянулась на зов доверчиво, вся, — как потянулась год назад одна знакомая Айре дура с сумкой.

Айра стояла у стены, ела гостинец Тай и смотрела на провожатого с чувством глубокого профессионального удовлетворения.

Вес у провожатого гулял. С левой ноги на правую, с правой — куда-то в середину, где у человека ног вообще не бывает. Год назад она приняла это за хромоту — и попала вторым пунктом в список того, о чём она никому не расскажет никогда. Пункт этот с тех пор сидел в ней как заноза.

Сегодня она видела всё с первого взгляда: и гуляющий вес, и то, что балахон в середине толще, чем положено одному человеку. И то, что «провожатый» ведёт толпу вдоль прачечной по второму кругу. Новички не замечали — откуда им. Айра знала академию так, как нтарам и не снилось.

Она доела пирог. Вытерла руки. И вышла им наперерез.

— Экскурсия хорошая, — сказала она балахону. — Но со второго круга — платная.

Балахон остановился. Подумал. И захихикал — в три голоса, вразной, отчего ближайšie новички попятились, а самый мелкий спрятался за самого длинного.

— Сдавайтесь, — предложила Айра. — Выйдет достойно.

Балахон осел на брусчатку с достоинством, какое только возможно при таком образе жизни. Из него прыснули трое — серо-бурые, головастые, знакомые ей теперь до последней дурной повадки — и кинулись в три стороны. Один в щель под поленницей, второй за бочки. Третий заметался и с обиженным верещанием умчался за угол, унося в лапке одну-единственную пуговицу. У кого из новичков стало на пуговицу меньше, выяснять не стали: целее рас-судок.

Год, — подумала Айра, глядя нтарам вслед с чем-то подозрительно похожим на нежность. — Год я носила вас в списке. Считайте, что вычеркнула.

Новички смотрели на неё во все глаза — вся толпа разом. Маленькие, мятые с дороги, они решительно не понимали, куда попали. И глядели на неё как на единственного человека, который тут хоть что-то понимает.

Разубеждать их было некогда: подошёл Отт.

Отт оглядел рассыпанный балахон, толпу, Айру со следами пирога и сделал выводы со скоростью, которой позавидовала бы стража. Его самого уже окликали от складов, от прачечной и откуда-то с крыши. День рвал куратора на части, и первый курс в эти части не помещался.

— Новоприбывшие. Провожатых не слушать. — Он подумал и уточнил: — Настоящих провожатых слушать. Ненастоящих не слушать. Отличать научитесь к зиме, до зимы — не разговаривать ни с кем, кто в балахоне. — Взгляд его упал на Айру, и в глазах у куратора мелькнуло что-то похожее на арифметику. — Адептка Сол. Они вас уже знают. Значит, ваши. Маршрут общий, довести до распорядителя, по дороге ничего не показывать.

— Совсем ничего?

— Совсем, — отрезал Отт с глубоким убеждением. — Меньше видят — крепче спят. — И уже уходя, добавил через плечо своё, коронное, чем инструктировал провожатых, наверное, со дня постройки: — Плиты с гербом не топтать. К колодцу не подходить. Если услышите пение — вы его не слышали.

Новички захихикали — нестройно, с облегчением: шутка, значит, тут шутят, значит, жить можно.

Айра не захихикала.

— За мной, — велела она. — Не отставать.

Вела она их тем же маршрутом, каким год назад вели её: два поворота налево, один направо. И на втором повороте с некоторым опозданием сообразила, что говорит короткими рублеными запретами, во множественном лице. Интонация была не её — казённая, каскадом Отта, на три размера больше. Год в академии — и ты уже разговариваешь, как доска объявлений.

— А правда, — догнал её сбоку самый мелкий, тот, что прятался за длинного, — что тут смотрительница есть? Летняя?

— Есть такая.

— А правда, что она в темноте видит? Мне в карете рассказали. И что у неё ключи от всех дверей, даже от которых нет. И что она призрака из погреба выселила. За неуплату!

Врал он вдохновенно. То есть не врал, конечно, а честно вёз сюда всё, что накидали ему в карете добрые люди. Вёз бережно, ничего не расплескав. Про темноту добрые люди попали ближе, чем им положено. Ну а про остальное — как обычно.

— Про призрака врут. Он съехал сам.

Мелкий посмотрел на неё с восторгом и недоверием разом. Недоверие боролось недолго.

— А вы её видели?!

— Числюсь при ней, — честно ответила Айра. — Состоим в переписке.

Дорога тем временем вела их через двор, и двор понемногу становился похож на себя осеннего. У полуподвала под Архивом Серак — прямее обычного после лета, с ящиком в руках — вежливо отказывался от помощи двух добровольцев: «Благодарю. Он хрупкий. Вы тоже». Нёс он ящик так, что было ясно: внутри инструмент, а инструменту с чужими руками знакомиться рано. Навстречу, из дверей Архива, вышел Верен со стопкой книг выше подбородка, встретился со ступенькой, удержал восемь, уронил одну — и извинился. Перед книгой. По имени.

А у столба возле столовой уже висела доска — свежая, струганая. Тевр, аккуратный и вежливый, как ярмарка в первый день, прибывал к ней лист с заголовком «ФОНД. ОСЕННИЙ

СЕЗОН ОТКРЫТ». Первую строку Айра прочитала, не сбавляя шага: «Приём пожеланий — бессрочно. Приём благодарностей — ежедневно».

Сезон, стало быть, открывался повсюду.

Толпу она сдала распорядителю у дверей Большого зала. По дороге не потерялся никто — для этого двора даже подозрительно прилично. Мелкий на прощание оглянулся и махнул ей рукой — так, будто они теперь заодно.

Хвост. Поздравляю, Айра: у тебя завёлся хвост. Год назад ты завелась у академии, теперь вот у тебя заводятся. Круговорот.

На обратном пути её перехватила Тай — уже без сундука, уже с ключом на пальце — и потащила смотреть казарму. Комнату в крыле Клинка ей сохранили, так что обещанное громкое горе отменялось. Комната была как комната: койка, стол, окно на плац. Но Тай ходила по ней, как по завоеванной провинции — всё уже её, только ещё не знает, что где, — и раскладывала вещи по местам, известным ей одной. Половину сундука, как выяснилось, занимала еда. Вторую половину — тоже еда, но «это не трогай, это на зиму».

— На подоконнике жить будет горшок, — объявила Тай, водружая горшок. — В горшке пока никто не живёт, но это временно. Окно открываем, печку не открываем, печка тут лишняя. — Она села на койку, попробовала её на прочность и осталась довольна. — Ну. Рассказывай. Только сначала главное, остальное потом.

— Что — главное?

— Сама знаешь. — Тай прищурилась, и вертикальные зрачки сделались тоньше. — За лето. Самое главное. Одной фразой.

Айра прикинула. Самое главное за лето в одну фразу помещалось плохо: в нём были ярусы, куда не ходят, дверь, которая недослушана, разъезд на ночной дороге, чужая исповедь у очага и вес, который не поднять вдвоём. Ничего из этого нельзя было говорить — пока. Своим можно не говорить.

— Я скучала.

Тай моргнула. Потом расплылась так, что в комнате прибавилось света.

— Врёшь, — счастливо заключила она. — То есть нет, не врёшь, в том и ужас. Ладно. Остальное вытрясу по частям, у меня вся зима впереди.

* * *

К вечеру большая вода схлынула. Кареты ушли пустыми, затор рассосался, писарь унёс конторку, и двор впервые за день услышал сам себя.

Айра как раз шла через него — усталая тем редким сортом усталости, за который не стыдно, — когда услышала тишину.

Не наступившую. Идущую. Тишина двигалась от ворот, как полоса стихшего ветра: сначала смолкли голоса у складов, потом дворня у колодца, потом стих сам колодезный ворот. Люди не пугались — просто у них сами собой заканчивались слова. И они оставались стоять со своими вёдрами и мешками, слегка удивлённые собственным молчанием.

В воротах, в последнем вечернем свете, стоял человек.

Немолодой, сухой, одетый по-дорожному и неприметно, у ног — один саквояж. Он никого не звал и ничего не требовал — просто стоял, чуть склонив голову набок, с видом человека, которому здесь обещали комнату. И без спешки слушал, как это место живёт. Так слушают стену, за которой что-то происходит.

Стихоплёт молчал.

Вот это было громко. Громче всего дня. Весь день камень встречал каждого входящего — рифмой, строфой, на худой конец скрипом. А тут в его нише стояла просто статуя. Первая просто статуя за триста лет. Человек у ворот поднял голову, поглядел на стража с вежливым

интересом — и Айре с её места показалось, что он чуть кивнул. Не как знакомому. Как инструменту, который правильно себя ведёт.

Через двор уже шёл ректор — один, без свиты, тем размеренным шагом, который у него означал самые разные вещи, и все нехорошие.

— Ректор Дейн. — Голос у гостя был негромкий и доносился странно далеко. — Я раньше срока. Дороги нынче быстрые. Не беспокойтесь: до начала я — только гость.

— Проверяющий, — шепнул кто-то за спиной у Айры, на всякий случай совсем тихо. — К сверке который. Ждали к концу недели...

Что ответил ректор, Айра не расслышала — расстояние съело. Зато она видела, как они пошли к Корпусу: гость чуть позади, всё с тем же наклоном головы — слушал он, похоже, и на ходу.

У крыльца им попались двое — парень с конюшен и девушка из прачечной, тащившие вдвоём последний на сегодня короб. Завидев ректора, оба посторонились и встали как полагаются, с ношей на весу.

Гость приостановился. Не перед ректором — перед ними: постоял шаг, склонив голову набок, как стоял в воротах.

— Эти двое из одной службы?

— Из разных, — ответил ректор. — Конюшни и прачечная.

— Да, разумеется, — сказал гость. Кивнул чему-то своему и пошёл дальше, не объяснив ни слова.

Айра осталась стоять и разбирать увиденное. Разобрать не получалось. Обоих она знала — порознь, по службам. А до нынешнего утра, когда их поставили на разгрузку вместе, эти двое друг друга и в лицо не видели. Двор большой, службы разные, тут можно год ходить мимо. Между ними не было ничего: ни слова при госте, ни взгляда, ни жеста. И глядел он на них всего шаг.

А спросил так, будто между ними что-то прозвучало. Что-то, чего она с двадцати шагов не расслышала.

Короб те двое потащили дальше — плечом к плечу, теснее, чем требовала ноша.

Целый год этот двор был её — со всеми звуками, ходами и погребями. Она знала его на слух, как скупщик знает звон своей монеты. И до этого вечера в нём не случалось ничего, чего не слышала бы она.

Услышал. Через двор, через камень, через день заезда. Я знаю этот двор наизусть — а он вошёл и с порога услышал в нём больше моего.

Она поглядела человеку в спину, пока спина не скрылась в дверях Корпуса.

Плохо дело, Айра. В академии теперь есть кто-то, кто слушает лучше тебя. И он ведь ещё даже не начинал.

Глава 7. Чаша и стойки

Чашу на ночь глядя будить не стали: последние кареты доехали уже в сумерках, и распределение отложили до утра. Год назад успели до заката, и Айра до сих пор числила это среди главных удач своей жизни: ждать такого всю ночь она бы не взялась ни за какие деньги. Этим — пришлось. Первый курс стоял теперь вдоль колонн Большого зала одной тесной толпой — умытый, невыспавшийся. И смотрел на чашу посреди зала, как на дверь зубодёра, за которой обещали, что больно не будет.

Сама она поднялась затемно, и усердие тут было ни при чём. Просто накануне у её должности завелась новая забота: переходы вокруг Большого зала велено было освободить от всего лишнего. Кто или что считалось лишним — не уточнили. Понятно было одно: очереди на сверку собирались ставить от дверей зала по галерее, вниз по малой лестнице и дальше во двор. И кто-то наверху уже расписал, где этим очередям стоять.

Расписал он их прямо по её кладовкам.

Ещё до заезда, когда слово «перепись» только въехало в академию, она прошла все свои схроны глазами очень придирчивого проверяльщика и перепрятала что следовало. Не спеша, по науке. Сама осталась довольна. Отмычки тогда переехали в место потише, а голове новое место запоминать не велели — чтобы спросить с неё было нечего. Руки знают — и хватит.

Теперь выяснилось, что руки выбрали щель у малой лестницы. На будущем маршруте очереди, аккурат на высоте локтя стоящего человека.

Молодцы, руки. Надо было с головой советоваться. Голова у нас дура, но дура с воображением.

Свёрток она сняла по дороге в зал — на ходу, не сбавляя шага, будто перчатку поправила. Промасленная тряпица нырнула в охапку ветоши. А охапку она несла под локтем совершенно законно: ветошь казённая, из перехода, изъята по вчерашнему же распоряжению. Лучший способ унести своё — нести его среди чужого, которое велели нести.

В зале её место было у узкой дверцы за колоннами: следить, чтобы в служебную дверь не совался никто посторонний. За лето выяснилось, что посторонние сюда не суются вовсе. Ну и вся служба была — стоять со скучным лицом. Скучное лицо у неё было лучшее в академии — жаль, в грамоту такое не впишут.

Зал она с прошлой осени видела всяким — пустым, ночным, праздничным. А таким — только раз, год назад, с другой стороны этих колонн. Старшие стояли по своим стенам: красное — густо и шумно, серебро — пожиже и с достоинством, а в дальнем углу, у тёмно-синих, было столько свободного места, что там гулял сквозняк. Преподаватели сидели на возвышении со скукой людей, отбывающих это не первый десяток лет. Ректор стоял там же, у края возвышения, застёгнутый на всё, будничней.

А в глубине зала, в стороне от цветов и от начальства, там, где лампы отчего-то не старались, стоял проверяющий.

Год назад в этой полутьме стоял другой человек и смотрел на неё. Айра тогда решила, что ему просто скучно. Выходит, у того места была должность.

— Чаша принимает, — сказал распорядитель, и зал умолк весь и сразу. — Знак ответит. Цвет решит.

И полторы сотни голосов вразнобой, вполголоса, наизусть пробормотали следом про Знак и про цвет. Первокурсники зашевелили губами на такт позже — как она сама год назад. Теперь она знала слова целиком: кое-что за год всё-таки наживаешь.

Дальше пошло знакомым порядком: вызов, Знак в чашу, вспышка, цвет, стена отвечает. Красная — рёвом, серебряная — хлопками, синяя — как всегда, тишиной. Новички в очереди коротали ожидание как умели, то есть шёпотом пугали друг друга.

— В Тень берут, у кого родни нет. Чтоб жаловаться было некому.

— Сам ты. В Тень берут, кого чаша боится.

— А чего она боится?

— Вот никто и не знает. Кого туда определяют — тот и узнает.

Не слушай их, чаша. Они просто тебя не понимают.

Старшие тем временем открыли ставки на цвета. Дело шло с размахом, но без крика: к тёмно-синему углу, где обосновался Тевр, очередь желающих выстроилась шёпотом. Единственная шёпотная очередь в академии: постоишь в такой — и сам не заметишь, как станешь солиднее.

— По одному мнению в руки, — негромко повторял Тевр. — Мнения принимаю любые, кроме верных наверняка. Верные наверняка портят игру и людей.

Из стены за спинами старших — по пояс в камне — за распределением надзирал голый призрак: не по должности, по призванию. Новичков он оценивал вполголоса, не спрашивая никого: этому — «жидковат», тому — «а этот ничего, этот дозреет».

— В моё время цвета были гуще, — сообщил он под конец в пространство. — Разбавляют.

Длинного приятеля Торпа — того, за которым Торп прятался весь вчерашний день, — вызвали в середине. Чаша ударила красным на весь зал, правая стена взревела. И поверх рёва, легко его перекрыв, прилетел голос Тай:

— У нас кормят!

Длинный шёл на рёв просто потому, что деваться было некуда. А последние шаги прошёл уже добровольно.

Дошла очередь и до Торпа.

Мелкий пошёл к тумбе, как по первому льду: не отрывая ног и слушая, не треснет ли. Знак он снимал двумя руками, цепочкой зацепился за ухо, распутался, положил. Айра поймала себя на том, что стоит у своей дверцы, вцепившись в створку, и считает за него. Не секунды даже — просто держит счёт, чтобы держать хоть что-нибудь.

Чаша вспыхнула тёмно-синим. Чистым, глубоким, без единой оговорки.

Тишина. Угольный угол промолчал — так у них принято. Она это знала лучше многих, а Торпу-то никто не объяснил. Он стоял у тумбы со своим Знаком в кулаке и ждал хоть какого-нибудь звука, и не дождался, и пошёл через зал в этой тишине, очень маленький и очень прямой. У синей стены кто-то молча подвинулся, освобождая ему место. По меркам угла это был салют, но об этом ему тоже никто не сказал.

Год назад угол встретил её цвет тишиной — без единого хлопка. Близнецам, шедшим перед ней, хлопок достался. Саркастический. Один. На двоих.

Айра выждала, пока Торп встанет к стене, — и хлопнула. Один раз, громко, из-за колонн. Зал глотал любой гул, а один хлопок пронёс из конца в конец. Вот только откуда пронёс — поди пойми. Торп просиял. Угол обернулся — весь разом.

Долг она вернула монетой угла: по одному хлопку в руки.

Поздравляю, друг мой Торп. Ты поступил на самый странный факультет. Ну или как минимум в первой тройке по странности.

К полудню всё кончилось: последний цвет, последняя запись, старшие стены разобрали новичков и повели кормить. Тевр у синего угла рассчитывался с мнениями — судя по лицам подходивших, верных наверняка сегодня не оказалось ни у кого.

А после полудня чаша отправилась отдыхать ещё на год, и её место заняло нечто другое.

* * *

Сначала Большой зал раздели: вынесли скамьи, ограждение, всю праздничную утварь. На этом её охапки ветоши и кончились бы — если бы она не следила, чтобы не кончались. Потом в дверях показалась первая пара носильщиков, и Айра узнала их ношу раньше, чем в дверях появилась вторая.

Тёмное дерево. Прожилки архонтита, тускло-синие, как жилы под кожей. Дуга в человеческий рост.

Родня той машины, что год назад стояла в этом же зале и слушала первый курс. Не та самая: та была старше и темнее, а эти глаже, свежее — будто с той сняли выкройку и пустили в дело. Но кровь та же. И ставили их тем же порядком: двумя пологими дугами, от дверей к возвышению, горловиной посередине. Год назад этой горловиной искали одного человека из шестидесяти шести. Теперь собирались пропустить всех. Всю академию, от ректора до последнего поварёнка, крыло за крылом. И её тоже.

Она досмотрела, как встаёт первая дуга, и понесла ветошь дальше. Ноги слушались со второго слова.

Артель была чужая, столичная: серые дорожные куртки, ремни, никакой суеты и ни одного лишнего слова. Стойки вносили по двое, медленно и торжественно: несли не тяжесть, а цену. Горловину отгородили верёвкой на кольях.

Где же Благородные бандиты, когда они так нужны? Украл бы эту штуку и дело с концом...

— Не кантовать, — ронял старший, не повышая голоса. — Она слышит.

Магистр Ольдер ходил за артелью по пятам со своей связкой ключей и с таким лицом, будто у него дома передвигают мебель, не спросив. При нём была стопка листов — своих, желтоватых, разлинованных вручную за пятнадцать лет службы.

— У меня заведены графы, — говорил он старшему в спину. — На всякую здешнюю странность. Демоническая линия. Тепловой фон. Старшая кровь.

— У сверки свои формы, магистр.

— В ваших формах нет графы на старшую кровь.

— Есть «прочее».

Ольдер остановился. Постоял. И ушёл походкой человека, у которого на глазах словом «прочее» назвали дело всей жизни.

У стены, там, где было видно всю горловину разом, обнаружилась Ним: руки сложены, коса тугая. Стойки она оглядывала взглядом коменданта, под чьи стены опять привезли осадное оружие.

— Сол.

— Ним.

Постояли. Стойки вставали одна за другой, синие жилы в дереве пока спали.

— Старая уехала пустой. Ни одной моей не нашла. Я проверяла дважды. Потерь не было.

— Помню.

— Эти новее. — Ним сощурилась, как щурятся на нового противника, которого решено уважать авансом. — Новее не значит умнее. Но считать они будут всех — значит, у всех всё должно быть посчитано заранее. Своё считай первым. Своё всегда забываешь.

— У меня посчитано.

— У всех посчитано, — холодно посочувствовала Ним. — До первой сверки.

Что и где у кого лежит — не спросила ни одна. Вежливость мастериц: рабочих вопросов друг другу не задают. Ним ещё раз оглядела горловину, что-то прикинула. По глазам было видно: счёт пошёл в третью или четвёртую сотню. И удалилась готовиться.

А Айре пора было заниматься делом: такой случай два раза не стучит.

Вторая её кладовка была здесь, в зале: ниша за третьей колонной, в двух шагах от служебной дверцы. Сухая, глубокая, обжитая ещё зимой. В нише лежали деньги в тряпице и крюк

с мотком бечёвки. По старой разметке это был лучший тайник Корпуса: мимо третьей колонны никто никогда не ходил. По новой разметке мимо третьей колонны шла очередь всей академии.

Переносить надо было сегодня. Сейчас. При полном зале, при чужой артели — и при проверяющем, который стоял в двадцати шагах, у первой стойки, и слушал, как её будят.

Правило на этот счёт она себе выдала ещё вчера, с первого его шага в воротах, коротко: при нём — руками. Только руками, без единого лишнего чувства — как честные люди. Вслух-то это звучало просто. На деле выяснилось, что честные люди живут вдвое медленнее: пока дождёшься, чтобы никто не смотрел, пока изобразишь уборку, пока ветошь ляжет как надо. Всё, что она за три года привыкла узнавать заранее, теперь приходилось узнавать как все — затылком и терпением.

Как они всё успевают? Честным людям надо ставить памятники. Чаще, чем ставят.

Тряпица с деньгами ушла в охапку между делом, третьим движением из пяти. Четыре из этих пяти были честной уборкой — выходило, что она сегодня почти приличный человек. Крюк с бечёвкой она решила забрать со второй ходкой: две вещи в одной охапке — это уже не уборка, а переезд.

У первой стойки тем временем становилось тихо.

Старший артели снял ремни, приложил ладонь к дереву — и синие жилы шевельнулись. Неохотно, спросонья, как собака, которую тронули за ухо: не укусит, но запомнит. По залу прошло то самое дыхание — чуть ярче, чуть темнее. И разговоры вокруг кончились сами: возле просыпающейся машины никому не хотелось шуметь. Проверяющий стоял в шаге от стойки, чуть склонив голову, и не делал ничего. Просто слушал. Вокруг него и без приказа очистился круг.

В дальнем конце зала кто-то из артельных сказал что-то вполголоса, себе под нос. Айра стояла к нему ближе всех и разобрала одно слово: «повело».

— Восьмую перетянуть, — отозвался проверяющий. Не оборачиваясь. Негромко. Через весь зал.

Услышали все. Восьмую перетянули.

А через минуту мимо него — впритирку — к разбуженной стойке пролез Торп.

Форма новее его самого, глаза круглые: первокурсника тащило к машине, как тащит к проруби — посмотреть, глубоко ли. Он поднырнул под верёвку, прошёл мимо проверяющего и застыл перед стойкой, задрав голову. Рука уже тянулась к синей жиле. Айра сгребла его за шиворот и уволокла в сторону, за колья.

— Я просто посмотреть хотел! — Торп и с вывернутым воротом глаз от стойки не отрывал. — В жизни таких махин не видел!

— Посмотрел — и хватит. Насмотришься ещё.

Сказала — и узнала интонацию: точно такими голосами её саму когда-то гоняли от чужих подоконников сварливые бабки. Докатилась.

Проверяющий не повернул головы — ни на мальчишку, ни на неё. Стоял, как стоял, и вслушивался во что-то своё. Восьмая стойка занимала его больше, чем два человека у самого локтя.

Уже отойдя, с охапкой в руках, Айра позволила себе один короткий взгляд на первую стойку.

Слышит слово через весь зал. Не видит мальчишку у локтя.

Выводов она делать не стала. Сложила туда же, куда складывала всё непонятное, и понесла охапку.

Ректор появился под вечер — хозяйским обходом: у дуг постоял, у дверей постоял, старшему артели сказал два слова, на которые тот ответил четырьмя. Возле Айры он оказался, когда она выносила последнюю охапку. Перед первым словом помолчал — и она поняла, что реплика у него готова давно.

— Порядок прохождения утвердят к утру. По крыльям, по очереди. Тень идёт последней.
— Почему?
— Так легла очередь. — Он смотрел не на неё — на горловину из стоек, пустую и длинную. — У вашего крыла больше всех времени.
— На что?
— На ожидание, — ответил ректор и пошёл дальше — довершать обход.

Спасибо. Утешили.

Она вынесла охапку во двор, в сарай, где ветоши и полагалось лежать. Что уходило из зала в этой ветоши, кроме ветоши, — знали руки. Голову, как обычно, решили не беспокоить.

* * *

Наутро машину испытали — не на учениках: на своих. По дворам объявили, что для пробного прохода нужны люди от служб, добровольно. Список «добровольцев» вывесили там же.

Двор к тому часу было не узнать. Капитан Брук размечал будущую очередь мелом — той самой чертой, которой он верил больше, чем оружию. Черта шла от дверей Корпуса, вдоль стены, вниз к площадке, и была прямая, как его собственная спина. У восточной стены черта, не прерываясь, легла дугой — обошла пятак под белым деревом и вернулась к стене за ним. Брук вёл её, не глядя, разговаривая через плечо со своими, и дуги, кажется, не заметил вовсе: рука увела мел сама. Ноги на этом дворе испокон веку уводило так же.

Перепись собиралась мерить на полуострове всё, что дышит, вплоть до кошки и голубей. Пятак под белым деревом она обошла мелом — и не спросила про него ни строчкой.

Айра посмотрела на дугу. Дуга лежала спокойно, как лежала бы любая другая черта.

Служба тем временем выясняла, кому идти через стойки первым. Мерка «у кого совесть чище» отпала сразу и с треском: совесть в хозяйственных дворах чистой не бывает — бывает уместная. Мерка «кто новее» обидела новеньких. Мерка «по старшинству» обидела старших.

— По уставу, — отрезал Отт, явившись на шум. — Первым идёт ответственный. Ответственный — я. Бояться запрещаю. Вопросы тоже.

И пошёл — папка под мышкой, спина казённая, шагом, каким проверяют мост: недоверием. Стойки при нём даже не дрогнули: жилы дышали сонно и одинаково от первой дуги до последней. Двор выдохнул так дружно, что стало слышно голубей.

За Оттом потянулись остальные. У машины началась нудная работа, а у двора — интересная: смотреть. К третьему человеку у очереди появились приметы. К пятому — школы примет.

— Кислого с утра не есть. Кислое фонит.

— Медяки из сапога вынь. Медь звенит первой, всякий знает.

— В горловину — с левой ноги.

— С правой!

— С левой! С правой в чашу, а в горловину с левой, ты вообще откуда такой...

Старуха с птичника прошла горловину с закрытыми глазами — не от страха, а «чтоб не сглазить машину». Конюх нёс перед собой шапку обеими руками, как решето с яйцами. Марга не пошла вовсе — у неё, разумеется, хлебы. И по её тону весь двор понял: хлебы у Марги старше любой переписи и эту переживут тоже.

Тевр развернулся прямо у очереди — без стола, без вывески, одним доверенным шёпотом:

— Фонд принимает на попечение. Всё, что не хочется показывать сверке. Храню, вопросов не задаю, расписок не даю.

— А если спросят, чьё?

— Скажу: не моё. Чистая правда — в этом и надёжность.

Очередь задумалась — глубоко, всерьёз, как не задумывалась над приметам. И по этой задумчивости выходило, что у каждого есть что не показывать. Двор готовился к переписи честно: пересчитывал, что прятать.

— Рук не хватает. — Старший артели подошёл к Ольдеру сам, первый раз за два дня. — Академия у вас большая, а нас — артель. К спискам возьмём местных.

Ольдер приосанился было — и увял: старший смотрел не на него, а на очередь. Местных собирались брать не по любви к графам, а по счёту голов.

А под самый вечер, когда прогон уже сворачивали, в очередь встал голый призрак.

Встал по всем правилам: за последним, соблюдая расстояние, с прямой спиной. Очередь на всякий случай сделала вид, что так и надо.

— Я здесь дольше всех, — объявил он, дойдя до горловины. — Триста лет ценза. Пусть отметит.

Спорить с ним было себе дороже, и его пропустили. Прошёл он торжественно, по пояс в полу, с достоинством, которого хватило бы на троих одетых. Стойки не шевельнулись. Ни одна жила не дрогнула, ни одна не потемнела. Машина смотрела сквозь него спокойно — как сквозь пустое место, которым он, строго говоря, и был.

— Безобразие. — Призрак остановился на выходе из горловины. — В моё время учёт был учёт. Меня в трёх книгах вели!

— Может, форма не та? — посочувствовали из очереди.

Призрак оглядел себя. Формы на нём не было никакой — уже лет триста как.

— Форма, — произнёс он с ледяным достоинством, — у меня парадная.

И ушёл в стену, унося обиду, которой предстояло пережить и эту перепись, и следующую.

Двор смеялся — хорошо, вслух, впервые за день не понижая голоса при машине. Айра шла мимо горловины со связкой ключей, посмеиваясь вместе со всеми, и уже почти прошла, когда Знак под рубашкой остыл.

Разом. Как монета, оброненная в снег.

Не на призрака — тот давно ушёл. Не на людей. На стойки: на сонное синее дыхание в тёмном дереве, до которого от её плеча было шагов пять.

Она не сбилась с шага. Шаг она себе выучила давно, ещё у чаши.

Знаю, — напомнила она Знаку. — Помню их. Терпи: мы с тобой в этой очереди последние.

Знак согрелся не сразу.

* * *

Совсем вечером, из окна перехода над кухонным двором, она увидела внизу троих.

Тай сидела на приступке у задней двери кухни и рассказывала что-то — руками, всем телом. Ложка ходила у неё в пальцах, как указка у лектора. Арден слушал и ел. Вторая миска остывала на краю приступки — добавка, от которой у этой двери не отказываются. Пар над мисками, тепло от двери — вечер как вечер.

Проверяющий шёл через двор от складов — гостевым шагом: спешить ему было некуда и незачем.

Возле приступки его шаг стал короче.

Он не остановился даже — приостановился: на два вдоха, на три. Стоял чуть в стороне, не глядя на них, будто вспоминал, куда шёл. Тай махала ложкой. Арден доедал первую миску. Его не заметил ни один из двоих.

Потом он пошёл дальше, и арка приняла его, и двор остался как был: приступка, пар, две миски.

Айра стояла у окна, пока внизу всё не стало совсем обычным, и пальцы на раме у неё остыли — как остывали всегда не ко времени и без спроса.

Позавчера, возле двоих с коробом, он спросил, из одной ли они службы. Возле этих двоих он не спросил ничего.

Значит, дослушал.

Глава 8. Свои

За ночь мел дополз до конюшен.

Черта капитана Брука за вчера обогнула парадный двор, а к утру добралась и до хозяйственного. Сарай стояли размеченные, с номерами по притолокам, и дворня ходила вдоль строя с почтением, как вдоль чужого забора. Свои же, а поди тронь.

Айра пришла сюда до завтрака. По должности — так она объяснила бы любому спросившему. А по делу — этого она не объяснила бы никому.

Четвёртый сарай от угла встретил её как родной. В нём, за колёсами и рогожей, стояла подвода с лесом: брус, скобы, петли в масляном тряпье — и дверная колода, дубовая, в человеческий рост. Айра увела её из обоза в день заезда одним движением мелка. «К разбору не спешит». Ещё вчера она этой работой гордилась. Лучшая кража сезона, между прочим.

Теперь она стояла перед подводой и смотрела на собственную пометку глазами человека со списком.

У всякой вещи спросят место, у всякого места — ответчика. Брус ответит сам: брус ждёт зимы. А дубовая колода без ответчика, помеченная рукой, которая нигде не расписалась... Вчера эта пометка была шапкой-невидимкой. Сегодня это было «прошу сюда» — крупно, мелом, с поклоном. Вот так лучших и ловят. Не на ошибке — на самой удачной работе.

Айра оглянулась. Двор жил своим: у колодца гремели вёдрами, от кухни несло подошедшим тестом. Она стёрла пометку рукавом. Сама. На ладони осталась белая пыль — единственная улика, да и та съедобная на вид.

— Переезжаешь, — сообщила она колоде сквозь рогожу. — В хорошие руки.

Колода отнеслась спокойно. Ей было всё равно, кому не принадлежать.

Ну что, Айра. Прятать ты умеешь лучше всех в этой стране. Посмотрим, как у тебя с «отдавать».

* * *

Подвал Тени за лето не изменился ни на волос — он, кажется, дал себе слово не меняться назло всему, что творилось наверху. Тот же камень, тот же обжитый до уюта холод, та же дверь без ручки. Пятеро расселись по прошлогодним местам, не сговариваясь.

Виерна стояла у стены, спиной к камню, как всегда. Лицо её и в этом году не запоминалось, сколько ни старайся, — и Айра давно бросила стараться.

— Наук у Тени шесть, — начала Виерна без приветствия: приветствия у Тени тоже не выдавали, их полагалось добывать. — Первую вы сдали год назад. Вторую вам читали до весны. Третья — личина. Её учат год, и года вам на этот раз никто не пожалеет.

Она отделилась от стены и пошла через подвал — своим обычным шагом, от которого не оставалось воспоминаний.

— Морок вам уже читали. Лицо — дешёвая часть человека: его подделывают румянами, выдумкой и плетением, и всё это враньё держится, пока смотрят в лицо. — Голос шёл вместе с ней, лекторский, скучный. — Личина начинается ниже. Смотрите на меня.

И между столом и дальней стеной декан кончилась.

Никто не поймал — где. Просто плечи ушли вперёд и вниз, вес осел в поясницу, шаг стал короче на ладонь и зашаркал — и мимо лавок понесла своё невидимое ведро немолодая судомойка. У судомойки болело правое колено. Судомойке никто никогда не уступал дорогу. Всё это читалось с трёх шагов, со спины, без единого слова. Она дошла до стены, повернулась — и назад, к столу, шла уже Виерна, ничего по дороге не сняв и не поправив.

По лавкам прокатился общий выдох.

— Что я поменяла?

— Всё, — признал Тевр.

— Я поменяла четыре вещи. Вес. Плечи. Длину шага. И возраст в коленях. — Виерна вернулась на своё место у стены. — Лицо оставалось моим от начала до конца — на лицо никто из вас не смотрел. Остальное вы дописали сами: смотрящий всегда дописывает сам, ему только дай с чего начать. Вот этому мы и будем учиться. Год.

И за это тоже посадят, если поймают. Знала бы моя улица, что здесь такое преподают с кафедры, — записалась бы на второй курс полным составом.

— Теперь вы. По одному, через весь подвал, кем угодно, кроме себя. Остальные называют, чем выдал.

Первым пошёл Юст — вернее, сперва встал и спросил:

— А за чужое лицо расписываться — как? — и пояснил с законной тревогой: — Ну вот иду я, положим, сторожем. Сторож обязан отмечаться в книге. Отмечусь — подлог. Не отмечусь — выходит, сторож не отметился, и подозрение падает на честного человека.

— Юст. Идите сторожем, который об этом задумался. Дальше само получится.

Юст задумался. И пошёл.

Сторож собрался из него по кускам, прямо на ходу: куртка одёрнута, подбородок ушёл в плечи, правая рука легла на пояс — придерживать связку ключей. Ключей не было, но рука держала их так убеждённо, что связка немедленно поверилась. Дальше сторож зажил своей жизнью. Толкнул ладонью дверцу в дальнем углу — заперта ли. Заглянул за стеллаж с укладками. Поднял с пола щепку и положил на стол, чтоб не валялась. Простучал костяшкой пустую бочку у входа и прислушался к звуку с таким лицом, что прислушались все. У дальней стены он пошлюнил палец и расписался на собственной ладони.

— Ключи! — не выдержала Ним. — Настоящие гремят.

— Он бочку простучал, — вступился Тевр с уважением. — Я бы не догадался.

— Бочка его и выдала, — отрезала Виерна. — Настоящий сторож до бочки не доходит: у настоящего спина, ужин и тридцать лет службы. Вы сыграли сторожа, каким он должен быть. А люди — то, чем они стали. Дальше.

Дальше шла Ним — и с Ним наука споткнулась ещё на сборах.

Задание ей выпало — женщина без вещей: руки пустые, карманы пустые, ничего при себе. Ним кивнула и начала разгружаться. На лавку легли: платок. Второй платок. Жестяная коробочка. Огрызок грифеля. Моток суровой нитки. Свечной огарок. И что-то, завязанное в тряпицу и наотрез не пожелавшее быть опознанным. Гора росла, Ним всё не пустела. За раскопками следил уже весь подвал — про урок забыли.

— Это всё — с собой? — не выдержал Юст. — Каждый день?

— Это малый набор.

Разгрузившись, Ним пошла. Хватило её на три шага. На четвёртом она потянулась проверить карман — тот самый, что остался на лавке вместе со всем содержимым. Не нашла ни кармана, ни смысла жить дальше и встала посреди подвала.

— Не могу, — призналась она с достоинством. — Чувствую себя голой.

— Это и читается. С первого шага. Человек, у которого ничего нет, ходит иначе, чем человек, у которого всё отняли только что.

— Тогда я возьму запасную. — Ним вернулась к лавке и взяла из горы свёрнутый платок. — У меня с собой вторая.

— Личина — не вещь, адептка.

— У меня — вещь.

Спорить было бесполезно: у Ним было. В том числе и то, чего не бывает.

Тевру задание выпало зеркальное: человек, которому ничего не нужно. Тевр закрыл глаза, что-то внутри себя переставил — и пошёл: шаг мерный, взгляд поверх вещей, руки

праздные. Мимо стеллажа с укладками — не покосился. Мимо горы Ним на лавке — не покосился, а это было уже выше человеческих сил: на гору Ним косился даже стеллаж. Смотрели заворожённо. Получалось. До самого конца получалось — пока Юст, войдя во вкус, не спросил шёпотом, нет ли чего от мозолей.

— Есть, — отозвался Тевр и полез за пазуху раньше, чем вспомнил, кем идёт.

Человек, которому ничего не нужно, стоял посреди подвала, протягивал жестянку с мазью и не понимал, что сделал не так.

— Он же попросил, — объяснил Тевр.

— Вот. — В голосе Виерны слышалось едва ли не удовольствие. — Личину не пробивают силой — личину пробивают просьбой. Человек выдаёт себя не тем, что прячет, а тем, что делает не думая.

Его даже жалко. Стоит с мазью, как со вторым сердцем, — и его же сейчас будут учить, что сердце надо прятать глубже.

Кейра шла без задания — Виерна ей ничего не назвала, только кивнула.

С места поднималась девочка с косой, а первый шаг сделал уже кто-то другой. Шире её в плечах, тяжелее на полпуда: носки врозь, локти отставлены, голова чуть набок. Так ходит человек, которому всю жизнь уступают дорогу. И походка была не выдуманная — чья-то, до последней мелочи, вплоть до манеры на ходу поддёргивать рукав. Этот кто-то прошёл подвал насквозь, у двери кончился, и на место села Кейра.

Никто не взялся называть, чем она себя выдала: называть было нечего. И почему у неё так выходит, тоже никто не спросил. Виерна посмотрела на неё на вдох дольше, чем на остальных, и промолчала.

Последней шла Айра.

Ей выпало — староста курса из хорошего дома. Работа знакомая до зевоты, только изнанку её здесь знала она одна. Подбородок — на ноготь вверх, не выше: выше — уже вызов, а старостам вызов не по чину. Вес — на пятки: с пятки ходят люди, которым некуда спешить, спешат пусть должники. Взгляд — поверх голов, на ладонь выше любого лица: там, наверху, у хороших домов и живёт всё интересное. И главное — недовольство: привычное, ко всему сразу. Мир опять недотягивает, но староста никого не винит, староста давно привыкла.

Она прошла подвал из конца в конец, у двери остановилась, провела пальцем по косяку, поглядела на палец и вздохнула — коротко, с накопленной за поколения усталостью. И вернулась собой.

Юст предположил, что подбородок был на волос выше положенного. Ним нашла, что походка чистая, а вот пальцу на косяке не поверила: больно уж вовремя там нашлась пыль. Тевр сообщил, что ему всё понравилось.

— Не выдала ничем, — подвела итог Виерна. — Пыль на косяке была. Отметка высшая.

Три года эта наука кормила её и дважды спасала ей жизнь, а теперь за неё ставили отметку. Высшую. В ведомость.

Дожила. Единственный предмет, который я знаю лучше преподавателя, — и тот мне зачтут по казённой графе. Может, ещё и грамоту дадут. За успехи в том, за что вешают.

— И последнее. — Все подобрались: последнее у Виерны всегда было главным. — Носить личину вас худо-бедно научат. Снимать — учитесь сами, и учитесь быстро. На свёрке личин не носят: кто явится к стойкам в чужом, будет объяснять людям с формами, зачем оно ему, — а у людей с формами на такие объяснения есть отдельные помещения. Проверьте каждый, что на васросло за год и что вы уже не снимаете, потому что забыли, что надели. Всё. Ступайте.

К выходу потянулись задумчивые.

Айра выходила последней. У всех в этом подвале личина надета поверх человека: снял — а под ней тот самый человек, что и в бумагах.

А у неё — наоборот.

* * *

За верёвкой она пошла к Ним — вечером, после ужина, в тупичок у кладовой.

Тупичок был всё тот же: два человека в ширину, четыре в длину, дух сушёных яблок со времён закладки стен. Зеркало висело на своём гвозде. У Ним даже тупички делались обжитыми — талант, которому Айра втайне завидовала больше, чем всем дарам всех трёх факультетов.

— Мне нужно сорок локтей бечёвки. Хорошей. И войлока на подкладки, четыре куска.

Ним не спросила зачем. Ним вообще не задавала рабочих вопросов — вежливость мастериц, заведённая ещё у стоек и крепче любой клятвы. Смерила Айру взглядом, будто заявку, и вынесла из кладовой моток, новый, вощённый. Войлок нашёлся тут же.

— Вернёшь моток, — сказала Ним. — Бечёвку не обещаю, бечёвка расходная. Моток верни.

— Верну.

Ним кивнула и вдруг добавила — без перехода:

— Я свои восемь мест разобрала.

Айра осторожно промолчала. Про восемь заначек Ним по академии ходили легенды, и сама Ним их не опровергала: дурная слава, надо думать, отваживает любопытных лучше замка.

— Совсем?

— Совсем. — В голосе Ним прозвучало спокойствие полководца, сдавшего крепость по собственному плану. — Перед сверкой не прячут, Сол. Перед сверкой раздают. Спрятанное найдут — на то и сверка. А розданное искать не станут: оно лежит у людей, у которых ему положено лежать. Иголки мои — у швеи. Воск — у кастелянши. Второй ремень — на конюшне, и конюх уверен, что это его ремень, и пусть: уверенность — тоже сохранность. В день сверки у меня нет ничего. Спросят — покажу: пусто. А через месяц всё вернётся само.

— Само?

— Люди возвращают чужое охотнее, чем отдают своё. Это наука не моя, бабкина. Она говорила: хочешь сберечь — отдай в долг. Долг помнят двое, а заначку — один, и этот один смертен.

Айра стояла с мотком под мышкой и чувствовала себя первокурсницей на чужой лекции. Эта девочка с косой додумалась до того, что переворачивало первую заповедь её жизни: не прятать от мира — рассовать по миру, чтобы мир сам и сторожил. Оставалось одно: немедленно эту науку украсть.

Учись, Айра. Ты прятала вещи от людей. А надо — среди людей. Разница та же, что между ямой и менялой, и менялу, что характерно, придумала не ты.

— Спасибо, — сказала она вслух. И уже на выходе не удержалась: — Ним. А если сверка спросит, откуда у швеи твои иголки?

— Не спросит. — Ним поправила зеркало на гвозде, хотя оно не кривилось. — Иголки у швеи вопросов не вызывают. Вопросы вызывают иголки у тех, кому шить нечего.

И этой фразой можно было закрывать любую академию — всё равно ничему более важному тут не научат.

* * *

К сараю она возвращалась в сумерках — с мотком под мышкой и войлоком за пазухой.

Хозяйственный двор отходил ко сну: у колодца добирали воду на утро, от кухни тянуло остывшим подом. У конюшен ей навстречу выступил из тени сторож — шагом неспешным,

будто этот круг у него тридцатый год. Фонарь он держал не для себя — для службы: светил не туда, куда смотрел, а куда положено.

— Стой, — сказал сторож без всякой угрозы, голосом, которому всё равно. — Что несёшь?

— Моток, — сказала Айра чистую правду.

Фонарь поднялся. Под фонарём обнаружилось лицо Юста — серьёзное, служилое.

— Хороший моток, — одобрил он голосом сторожа. — Вощёный. Такие крадут.

— Не при мне.

Сторож важно кивнул: ответ его устроил.

— Юст. Ты почему сторожем подрабатываешь?

— Тренируюсь. Хожу, пока не перестанут оборачиваться. — Он и сейчас не вышел из роли: стоял как у ворот, вполоборота, глядя мимо. — На меня уже не оборачиваются. Один раз спросили, где колодец.

— Это успех.

— Это был провал. — Юст вздохнул — впервые за разговор своим голосом. — Я показал рукой и сказал «вон там, за поварней, сразу направо». А настоящий сторож буркнул бы. Я потом полчаса ходил и буркал. Не выходит у меня пока бурчать.

— Кто ж тебе назначил ночные обходы?

— Сам себе. Кто-то же должен.

— Доброй службы, — сказала Айра и пошла дальше.

— Доброй но... — Сторож в Юсте справился: — Проходи. Ходят тут всякие...

За спиной, в тишине двора, кто-то вполголоса пробовал буркнуть. Выходило вопросительно.

В четвёртом сарае было темно, пахло маслом, рогожей и старым деревом. Айра засветила огарок, откинула рогожу — колода лежала, где лежала, только подвода теперь стояла без пометки. Голая перед завтрашним днём.

Она села на край подводы, зацепила конец бечёвки за скобу и стала вязать.

Вязала она, как вяжут грузчики на рынке: петля широкая, под плечо, узел двойной, войлок под узел — чтобы дуб не перетёр бечёвку, а бечёвка не въелась в ладонь. Нить шла туго и пахла Ним: воском и порядком.

Спасибо, Ним. Потом верну.

Колоду она взвесила взглядом ещё в день заезда: меньше чем вчетвером её не взять. Стало быть, четыре петли.

Ним раздала своё — восемь мест, и каждое к своему человеку. У Айры на раздачу была одна колода. Зато дело лежало при ней целиком, никому не роздано: с той ночи у очага она носила его одна, в той же яме, где привыкла держать всё ценное. Вещи из ямы она сегодня выучилась доставать. По науке получалось, что и дело достают так же: по куску — и каждый кусок кладут туда, где ему законное место. Дверь — к мастеру. Счёт — к тому, кто умеет считать. Тяжесть — к той, что гнёт подковы на спор.

Четыре петли легли в ряд на рогожу. Одна пара рук у неё была своя. За остальными тремя предстояло сходить.

Свою петлю она примерила сразу — пришлась по плечу, как шитая на заказ.

Колоду ты украла одним движением мелка. С людьми этот номер не пройдёт. Людей берут по одному — штучный товар.

Глава 9. Первое дело

Братъ Айра умела: кошельки, засовы, дверные колоды — всё это было прожито и понято. А вот людей братъ до сих пор не доводилось. Раньше люди у неё шли по другим спискам — свидетели, покупатели, стража.

Поэтому к делу она подготовилась серьёзно. На каждого из троих она припасла заход и три довода — на случай, если заход не возьмёт. Доводы она сочиняла полночи, между второй петлёй и четвёртой, и среди них попадались очень приличные.

Ни один не понадобился. Никому.

Неблагодарные.

* * *

Тай нашлась у казарм Клинка. Сидела на приступке с миской, гоняла ложкой по дну что-то последнее и вела с соседями беседу — слышную, по скромной прикидке, до самых ворот.

— Есть дело, — Айра присела рядом. — Надо тяжёлое...

Миска опустела и встала на приступку. Тай поднялась — вся, сразу. Не «поговорить» позвали — работать. Ложку она при этом отложила, и это был жест высшего почтения.

— Наконец-то. Куда идти? Что нести? Это которое тяжёлое — очень или как всегда? Погоди, не отвечай. Сначала главное: до ужина управимся?

— После ужина начнём.

— Ну и правильно, — одобрила Тай. — На сытую спину и ноша легче. Я в сумерках подойду. Куда?

— К четвёртому сараю. От угла.

— Знаю его, — заверила Тай, у которой это означало, что теперь будет знать.

И пошла к казармам — договаривать соседям то, что не успела. А Айра осталась сидеть с тремя доводами на руках.

Готовила три довода. Три! Кому ты их теперь продашь, Айра? Разве что вон тому воробью — но у него, судя по морде, своих полно.

Первый человек занял столько времени, сколько заняла его миска. Айра встала и пошла за вторым.

* * *

В мастерскую она спустилась под вечер, когда полуподвал при кузне уже засветил свою лампу. Та горела за линзой, широко и жёлто, и от двери вся мастерская выглядела как жестяная игрушка, в которую вставили свечку.

Серак сидел за верстаком и перебирал дверную петлю. Не свою — чужую, из тех, что ему несли со всей академии: чинил он даром. Табурет у двери стоял свободный, как стоял все эти годы: железок на нём не держали.

Айра на него не села — дело было короткое.

— Принесу тебе сегодня одну вещь. В починку.

Серак довёл щуп до конца паза и только потом поднял голову. Вежливая улыбка была на месте — она у него всегда была на месте, как нос.

— Большую?

— Очень. Дубовую.

— Петли есть?

— Есть. В масляном тряпье, не тронуты.

— Хорошо, что в тряпье.

По голосу было ясно: полдела он уже понял. Вторые полдела, надо думать, тоже — но спрашивать не станет.

Правило у них с прошлого года было простое и работало в обе стороны. Тем и было хорошо.

— К ночи привезём. Вернее, принесём.

— Место будет. — Он вернулся к петле, подумал и добавил ей в спину: — Носильщиков возьми толковых. Дуб глупых не любит.

Третий толковый ждал её в Архиве — и не знал об этом.

* * *

В отделе каталогов стоял тот час, когда читатели уже разошлись, а порядок ещё нет. Верен стоял на стремянке в две ступени и вставлял на место ящик с карточками. Две ступени делали его нескладность какой-то торжественной. Ящик шёл туго. Верен ему не грубил.

— Верен.

— Вы. — Верен не обернулся: своих он узнавал по голосу и был этим горд. — Одну минуту. Ящик семь-дробь-три не любит, когда его задвигают при посторонних.

Ящик, видимо, сделал исключение: вошёл. Верен спустился со стремянки и оправил рукава.

— Слушаю вас.

— Нужны руки. Сегодня, в сумерки. Перенести одну вещь — тяжёлую, дубовую, отсюда недалеко.

Верен поправил очки, хотя они не съезжали. Айра приготовилась к вопросам: что за вещь, по чьему распоряжению, отчего в сумерки.

— Меня, — уточнил Верен, — зовут таскать?

— Тебя.

— Тяжёлое.

— Очень.

Он выпрямился — самую малость, но у него это была целая осанка.

— Я приду. — С таким достоинством принимают не поручение, а чин. — Куда и к какому часу?

— Четвёртый сарай от угла, как стемнеет.

— Я буду раньше, — пообещал Верен и посмотрел на свои ладони — с сомнением, но без паники, как смотрят на инструмент, который ни разу не подводил, потому что ни разу не был в работе.

Уже на выходе Айра услышала, как за спиной выдвигается ящик — дальний, судя по звуку. И голос Верена, вежливо сообщающий кому-то невидимому:

— Хлопчатые не годятся. Дуб — это вам не фонды.

Три человека — три «да». Ни одного «зачем». Либо я очень хороша, либо им очень скучно жилось. Ладно. Пусть будет — я хороша, а им скучно: бери оптом, дешевле выйдет.

* * *

Обратно она шла через хозяйственный двор. Днём двор ещё не знал, что ему предстоит вечером, и жил обычным: гремел, ругался и сушил бельё.

У задней кухонной двери, на тёплом камне, сидел Арден и ел. Спокойно, неторопливо: все дела на свете у него кончились, осталось одно — и оно в миске.

— Арден. Вечером надо дверь перенести. Тяжёлую. Поможешь?

— Помогу, — отозвался Арден и подвинулся: садись, мол, места на двоих.

Она не села — до сумерек ещё хватало забот. Постояла, подождала вопросов: какую дверь, куда, почему он. Но Арден просто ел, и вопросов у него было не больше, чем у миски.

— В сумерки, у четвёртого сарая.

Арден кивнул.

Доводов на Ардена она не заготовила ни одного. Не понадобилось и тут.

* * *

К сараю Верен пришёл первым — за четверть часа до срока, в перчатках. Перчатки были кожаные, чужие, на размер больше нужного, и сидели на нём, как парадный мундир: неудобно и величественно.

Тай стало слышно за поддвора: она на ходу досказывала кому-то, что остальное — завтра, потому что сегодня у неё дело. Слово «дело» она несла, как знамя.

Серак ждать внизу не стал. Он обнаружился у воротины сарая — разминал ладони перед работой, о которой не спорят.

— Ты же принимаешь, — сказала Айра.

— Приму. Внизу. — Он взялся за заднюю петлю. — Дуб глупых не любит. А толковых тут в обрез.

Спорить с мастером о дубе она не стала — тем более что мастер был прав по всем статьям, включая обидную.

Дверь вынесли из сарая в сумерки, открыто, вчетвером. Честнее этого Айра в жизни ничего не делала. Ощущение было непривычное, как новые сапоги: жмёт, но жить можно.

Петли легли, как мерились: передние — Айре и Тай, задние — Сераку и Верену, войлок под узлами, дуб над головой.

— Поехали, — сказала Айра двери.

И дверь поехала. Тай несла свою половину так, будто ей дали подержать поднос. Остальные трое несли вторую половину — втроём, и половина об этом знала.

Дверь нельзя спрятать — значит, дверь надо отдать. Единственное место в академии, где дубовая дверь лежит законно, — мастерская. Там чинят, там дереву и место, а ответчиком запишется мастер. Давешняя кража задним числом становилась доставкой. Оставалось её доставить.

Легко сказать.

Первый раз дверь уронили ещё у ворот сарая: задний левый угол сразу пошёл к земле, где ему, судя по всему, нравилось. Грохнуло знатно — двор оглянулся весь.

— Прошу прощения, — сказал Верен двери, поправляя перчатки. — Это больше не повторится.

До середины двора это повторилось трижды.

Дуб принимал удары спокойно: двери было всё равно, где лежать. Страдал Серак — один за всех. При каждом ударе он морщился — не за себя, за дерево. На третий раз молча перешёл к заднему углу и дальше вёл его ладонью — как нетрезвого товарища под локоть.

— Давайте я одна, — предложила Тай. Ей одной всё это давалось легко, и от лёгкости она заскучала.

— Нет, — ответили ей в три голоса и в три одышки.

Гордость у носильщиков была тяжелее двери. Её не уронили ни разу.

Публика, надо сказать, подобралась достойная. Хозяйственный двор к сумеркам и сам был зрелищем, за которое в городе брали бы деньги. Дворня уверовала, что у всякой вещи должен быть ответчик, и снесла к разметке всё бесхозное, что нашлось по углам. Вдоль стены стояла очередь вещей. Стул о трёх ногах — при нём конюх, глядевший на стул с ненавистью

давнего знакомства. Ведро — при нём целый сход: ведро было то самое, утопленное. Его так и не достали, и теперь решали, может ли ответчик отвечать за вещь, которая присутствует, но не предъявляется.

Сквозь этот смотр они и волокли свою ношу.

— Дверь, — уважительно протянули от очереди. — Гляди, дверь понесли. К переписи, не иначе: очередь стоять будет — чтоб не дуло.

— Скажешь. Это в баню.

— В какую баню, она дубовая!

— В хорошую, — отрезали рядом, и двор остался спорить о бане.

Версия Айру устраивала целиком: хорошая версия — как хорошая личина, пусть живёт и кормится сама.

А ещё за ними следили. Интерес был, к слову, знакомый: от очереди вещей принимали ставки — уронят у колодца или дотянут до поворота. Когда ухнуло у самого колодца, кто-то невидимый охнул с досадой человека, поставившего на поворот.

Будь я по ту сторону — первой бы ставки принимала. Но я по эту. И по эту сторону, между прочим, обидно.

У поворота к складам ноша разом полегчала.

Айра оглянулась. Сзади, у самого торца, шёл Арден и нёс — как шёл, так и нёс: просто, удобно, голыми ладонями по дереву. Когда он успел взяться, как она его уговаривала и что он на это ответил — из памяти пропало напрочь. На этом месте лежала опрятная пустота, как после хорошей уборки: чисто — и не спросишь, куда что делось. Айра поворочила эту пустоту так и этак, ничего из неё не выжала и решила считать, что договорились.

Пятой петли не было. Арден не жаловался.

А шагов через двадцать дверь, наоборот, налилась. Не «стала тяжелее» — налилась: разом, вся, будто внутри дуба кто-то открыл погреб и его залило. Верен охнул и сменил хват. Тай повела плечом — проверяя, она ли ещё несёт или уже её несут.

— Стоп, — сказала Тай. — Она потяжелела. Дерево так не умеет.

— Дуб умеет, — авторитетно отозвались сзади, из провожатых. — Дуб к ночи набирает. Айра оглянулась на дверь — и увидела причину.

Посреди двери, головой на войлочном узле, развалившись во всю свою немалую длину, спал Кот. Чёрный, беззастенчивый, тяжёлый, как два мешка менялы.

Она посмотрела на него со всем значением, какое умела вложить во взгляд. Кот, не просыпаясь, перевернулся на другой бок. Переговоры были окончены.

— К ночи набирает, — веско подтвердила Айра, и с этим смирились: против науки не попрёшь.

Один Арден сзади перехватил пониже — молча, будто так и надо.

Целый день тебя никто не возил, да? И тут такая оказия. Устраивайся, чего уж. Дове- зём.

Дальше их остановила служба — и первый раз в жизни Айра обрадовалась страже. Молодой стражник заступил дорогу и потребовал объяснить: что несут, откуда взято, кем велено. Спрашивать он был обязан — по новому листу. И по лицу было видно, что лист он выучил наизусть.

И тут через двор, своим вечерним обходом, прошёл ректор.

Он даже шага не сбавил — только повернул голову. Четверо адептов, дубовая дверь торцом в землю, войлок, служебное рвение. И уронил на ходу, как мелочь нищему:

— В починку. Мастеру.

И пошёл дальше — туда, где его, судя по голосам, уже дожидался чей-то спор о тюфяках.

Стражник посторонился с облегчением человека, которому разрешили не думать. Дверь поплыла дальше — законная, с ответчиком, с назначением, с благословением Самого. Кот на

ней так и спал: у законных вещей и сон крепче. Айра три дня прятала эту дверь, ночь думала, как её узаконить, день собирала под неё людей. А он прошёл мимо и тремя словами превратил кражу в поручение.

Вот она, настоящая власть: не брать, не прятать, не отпирать — назвать. Назвал вещь — и вещь стала названным. А мы-то, дураки, всю жизнь думали, что главное — руки.

До мастерской оставалось всего ничего — и одна лестница. Боковая, к нижнему двору: длинный прямой пролёт без единой площадки и перила, помнившие лучшие времена.

На третьей ступени перчатка Верена наконец сделала то, к чему шла весь вечер: соскользнула. Задний угол нырнул, передние петли рвануло из ладоней — и дверь пошла вниз своим ходом.

Сама же сказала: поехали. Кто за язык тянул.

Ехала она сперва неуверенно, потом с нарастающим интересом, гремя на каждой ступени так, что где-то далеко отозвались лошади. Кот ехал на ней. Проснулся он на середине пролёта. Морду его Айра видела всю дорогу: подобного с Котом не случилось за всю его невозможную жизнь, и виноватых он уже наметил. Всех.

Внизу дверь стукнулась о стену, развернулась и легла. Кот сошёл с неё походкой оскорблённого достоинства, обвёл лестницу взглядом, от которого у Айры завяли уши, — и исчез. Не ушёл, а именно исчез: было — и не стало.

Дверь после этого разом полегчала. На вид — тоже.

— Во! — крикнула снизу Тай, добежавшая первой. — Отпустило! Говорю же: к ночи набирает, к росе отдаёт.

Наука, стало быть, пополнилась, и спорить с ней было уже бесполезно.

Хуже было с другим: с лестницей. Дверь лежала внизу, путь лежал наверху, и одно с другим не сходилось никак.

Арден посмотрел на дверь. Потом на лестницу. Потом ещё раз на дверь — внимательно: начало у этой работы было видно, а конца — нет.

— Мне пора, — сообщил он. — Дела появились.

Появились они, по всем приметам, вот только что — прямо здесь, между дверью внизу и лестницей наверху. Какие — он не уточнил, а спрашивать никто не стал: с делами не спорят. А когда он ушёл, не поймал никто: там, где он стоял, просто стало свободно. Давно ли — никто бы не поручился.

Затаскивали дверь в два приёма: на середине подъёма она выскользнула и съехала на исходную — убедиться, что урок усвоен твёрдо. Со второго приёма лестница кончилась. Верен стянул перчатки и посмотрел на них, как на предателей, которым доверяли с юности.

У спуска в полуподвал случился затор. Дверь шла в проём впритирку, ступени были стёсаны поколениями ног. И на третьей снизу Верен, шедший задним левым, начал считать.

Считал он вполголоса, для себя, но в узком колодце лестницы слышно было всем:

— Плечо подъёма — семь ступеней, перехват на площадке... На прямом ходу — восемь рук, впритык. На лестнице — десять: две пары на весу, пара на перехвате, пара страхует снизу — и пара сменная, потому что на лестнице руки горят. Меньше десяти её не взять. Никак.

— Кого — её? — не поняла Тай.

— Ношу такого класса. Любую. Это не про дерево, это про вес и проходы. Я посчитал. Он посчитал, и ошибки там не было ни одной.

Внесли, однако, в восемь. С трудом и душевными травмами.

* * *

Мастерская приняла дверь, как хороший порт принимает битое штормом судно. Сразу нашлось место у стены, сразу нашлись клинья. Серак обошёл её кругом с лампой. Деревя он в ней уже не видел — видел работу.

В дверь — входную (была у мастерской и такая, попроще) — спиной вошла Тай, с котелком и стопкой мисок от Марги. Доставка у Тай кончалась ужином. То, что ужин они прекрасно провели ещё до всего этого приключения, дела не меняло: после такого путешествия второй ужин был необходим всем и каждому. По мастерской, поверх воска и железа, поплыл дух жареного лука, и обмеры сразу стали казаться делом второй важности.

Миски пошли по рукам. Одна осталась.

Тай посмотрела на неё, на вход, снова на миску — и поставила её на край верстака, ближе к выходу.

— Остынет — съем. — И вопрос был закрыт.

Сама Тай устроилась на верстаке, с ногами: право на верстак она сегодня отработала.

Верен стоял у стеллажа со стопкой чужих чертежей, которую сам же чуть не уронил. На лишнюю миску он посмотрел долгим взглядом человека, у которого не сходится итог. Потом перевёл взгляд на собственные перчатки и промолчал.

— Я обязан заметить, — Верен пристроил наконец чертежи на стеллаж, — что мы не собираемся в мастерских. С зимы.

— А мы не собираемся. Мы чиним.

— Теперь — да, — отозвался Серак от двери. Лампа в его руке шла вдоль косяка, от скола к сколу, нигде не задерживаясь надолго: выбор был богатый. — Утром чинить тут было нечего. Несли целую. Принесли... что принесли.

Речь у Айры была заготовлена ещё с ночи, между четвёртой петлёй и сном: с зачином, с расстановкой, с одной скупой похвалой под конец. Хорошая речь, на сытых и свежих. Сытые нашлись, свежих не было, и Айра выждала, пока миски опустеют хотя бы наполовину.

Потом встала и начала — торжественно, как, по её понятиям, полагалось открывать военные советы:

— Господа. И дамы.

Господа и дамы ели.

— Я собрала вас здесь, потому что нам поручили очень важное дело — обокрасть академию.

Она готовилась к чему угодно: к тишине, к уроненной ложке, к «ты в своём уме?». Не понадобилось и это. После сегодняшнего вечера ограбление прозвучало буднично, как приглашение поработать, — может, потому, что им оно и было.

— А что берём? — спросила Тай, не отрываясь от миски.

— Одну вещь.

— Какую?

— Не нашего ума дела.

— Погоди. — Вот тут Тай оторвалась. — Красть — у академии? Мы же в ней живём.

— В этом и удобство: далеко носить не придётся.

— Носить, — повторила Тай. Слово за вечер заметно потяжелело.

— Недалеко, — надавила Айра на главное. И Тай кивнула — так, как кивают доводу, который не столько убедил, сколько добил.

— Ну а знаем-то мы про это дело хоть что-нибудь?

— Три вещи: где лежит, какая дверь её стережёт и кто её вынесет. — Айра отсчитала их на пальцах, по-рыночному, чтобы видел весь ряд. — Первые два знания мне достались даром. Третье... мы проверили сегодня.

— Это мы, — вполголоса перевела Тай Верену.

— Мы точно справимся? — спросил Верен и покосился на дверь — со значением, которое дверь за вечер честно заслужила. — Нас вообще... хватит? — Под ответ, судя по голосу, у него уже была заведена строка.

— Соберёмся — посчитаем.

Строка осталась незаполненной. Верен пережил это молча — сегодня далось легче обычного: с арифметикой они с вечера были в ссоре.

— Теперь — где. — Стоять торжественно сил уже не было, и Айра села на верстак рядом с Тай: в конце концов, сидя врут меньше — пусть видят. — Лежит оно под академией. Глубже подвалов, глубже всего, что вы знаете. И стережёт его дверь.

— Ещё одна, — сказал Верен голосом очень уставшего человека.

— Эта — другая. — Вот тут в её голосе впервые за весь вечер появилось чувство. — Эта — красавица. Плита в камне: ни петель, ни скважины, ни замка... да подождите вы!

Все, подобно Ардену, вдруг резко вспомнили, что у них есть важные дела, которые совершенно не терпят отлагательств.

— Мы не будем красть ещё одну дверь. Тем более каменную. Её мы просто откроем. Украсть надо будет то, что за этой дверью.

Дела разом куда-то испарились.

— А эту мы тогда зачем весь вечер носили? — Тай кивнула на дверь у стены.

— Эта — учебное пособие. — Айра похлопала её по дубовому боку. Пособие выглядело как после первого урока. — Настоящую открыть — самое простое место всего дела: приложился и стой красиво. Работа начинается после. Вещь надо вынести. Наверх.

— По лестницам, — сказал Верен. Слово встало у него в один ряд с «носить».

— По лестницам. В темноте. И так, чтобы ни одна душа не спалила ни нас, ни её. — Айра развела руками. — Я всю жизнь выносила то, что прячется в рукав, в сапог и за пазуху. Эта в рукав не пойдёт. Такое с первого раза не делают. Такое ставят, пока не станет скучно. На настоящей не порепетируешь — вот и будем гонять эту, пока не заездим до дыр.

На «гонять эту» Верен закрыл глаза. Судя по губам, он что-то считал, и это были не ступени.

— Сегодня, к слову, была первая репетиция, — добавила Айра. — Все справились.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.